·большая детская библиотека

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ



Лучшие сказки и рассказы ДЛЯ ДЕТЕЙ

Лучшие сказки и рассказы для детей

Андрей Платонович Платонов

Аннотация
Андрей Платонов. Лучшие сказки и рассказы для детей
Сказки
- Волшебное кольцо
- Умная внучка
- Финист – Ясный Сокол
- Солдат и царица
- Неизвестный цветок

Рассказы
- Юшка
- Корова
- Сухой хлеб
- Усомнившийся Макар
- На заре туманной юности
- В прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)
- Еще мама
- Никита

Аннотация

Андрей Платонов (настоящее имя Андрей Платонович Климентов, 1899 – 1951) – русский писатель, поэт, сценарист. Его богатый жизненный опыт, собравший в себя события Гражданской войны, репрессий, Великой Отечественной войны, лёг в основу его произведений. Литературный стиль Андрея Платонова – уникальный и узнаваемый, он был высоко оценён критиками и читателями. Его прозе характерна народность, реалистичность и назидательность.

В сборник «Лучшие сказки и рассказы для детей» вошли самые знаменитые сказки писателя – «Волшебное кольцо», «Финист – Ясный сокол», «Умная внучка» и другие, а также самые известные рассказы Андрея Платонова, посвящённые жизни простого русского человека.

Для среднего школьного возраста.



Андрей Платонов
Лучшие сказки и рассказы для детей

© Платонов А. П., насл., 2026
© Цыганков И. А., ил., 2026
© ООО «Издательство «АСТ», 2026

* * *

Сказки

Волшебное кольцо

Жила в деревне крестьянка. При ней жил сын ее Семен, неженатый еще. Жили они бедно: спали на соломе, одежонка на них старая, латаная, и в рот им положить нечего. Жили они давно; тогда земли у крестьян было мало, а что и была, так неродящая была земля: что и посеет крестьянин, то вымерзнет, а не вымерзнет, так от засухи посохнет, а не посохнет, так вымокнет, а не вымокнет, так саранча пожрет.

Получал Семен в городе пенсию за отца — копейку в месяц.

Вот идет Семен однажды с деньгами, с копейкой, и видит: один человек надел собаке веревку на шею и удавливает ее. А собака-то всего маленькая, беленькая, щенок.

Семен к тому человеку;

— Ты пошто щенка мучишь?

А тот ему:

— А какое тебе дело? Хошь убью, хошь нет — не твое дело.

— А ты продай мне его за копейку!

— Бери!

Отдал Семен последнюю копейку, взял щенка

на руки и пошел домой.

— Нет у меня коровы, нету лошади, зато щенок есть.

Принес он щенка домой, а мать бранится:

— Глупый ты у меня! Нам самим есть нечего, а он собак покупает!

— Ничего, мама, — отвечает ей сын, — и щенок скотина, не мычит, так брешет.

Через месяц Семен снова пошел в город за пенсией. Вышла копейка прибавки, получил он две копейки.

Идет он домой, а на дороге тот же человек кошку мучает. Подбежал Семен к нему:

— Пошто ты живую тварь уродуешь?

— А тебе-то что? Чай, кошка-то моя!

— Продай ее мне!

— Купи, да кошка-то, гляди, дороже собаки.

Сторговались за две копейки.

Понес Семен кошку домой. Мать пуще прежнего забранилась на сына — и в тот день до вечера бранилась, и на другой день с утра начала браниться.

Прошел месяц. Пошел Семен опять в город за пенсией. Опять в прибавку вышла копейка: получил Семен три копейки. Идет Семен из города; а на дороге стоит тот же человек и змею давит.

Семен сразу к нему:

— Не убивай ее, эта змея вишь какая, я и не видал такую — должно, она не ядовитая. Лучше продай ее мне.

Купил он змею за все деньги, сколько было у него, за три копейки, положил ее за пазуху и пошел домой. Змея отогрелась и говорит:

— Не жалей, Семен, что последние деньги на меня потратил. Я не простая змея, а я змея Скарапея. Без тебя пришла бы мне смерть, а теперь я жива, и мой отец тебя отблагодарит.

Пришел Семен домой и выпустил змею из-за пазухи. А мать как увидела змею, так на печку залезла и даже побранить сына не может: у нее язык отнялся с испуга. Змея же Скарапея заползла под печку, свернулась там и уснула.

Вот и стали жить — собака белая да кошка серая, Семен с матерью да змея Скарапея, а всего пятеро.

Невзлюбила мать Семена Скарапею-змею: то есть ей не даст и воды не поставит, то на хвост наступит.

Говорит тогда Скарапея Семену:

— Твоя мать обижает меня. Проводи меня к моему отцу.

Поползла змея по дороге, а Семен следом пошел.

Долго шел он за змеей — день и ночь, день и ночь. Обступили их темные дебри[1]. Подумал Семен: куда он идет и как назад вернется?

А змея утешает его:

— Не бойся ничего, сейчас доползем, это уж змеиное царство началось, видишь? А я змеиного царя дочь, и сейчас мы увидим моего отца. А теперь слушай. Вот когда я скажу ему, как ты меня спас, он поблагодарит тебя и даст тебе много золота, а ты золото не бери, а попроси одно золотое кольцо, что у отца на пальце. Кольцо это волшебное. Отец для меня его бережет, а я хочу тебе его подарить.

Пришел Семен со змеиной царевной к Змею-царю. Змей обрадовался дочери. Говорит он Семену.

— Спасибо тебе, Семен, спас ты мне любимую дочь! Выдал бы я ее замуж за тебя, не пожалел бы, да есть у нее сговоренный жених. Бери у меня золота, сколько хочешь!

Семен золото не берет, а говорит змеиному царю:

— Дай мне кольцо с твоей руки, оно мне будет в память о твоей дочери. На нем, видишь, на

---

[1] Сноски: 1

Де́бри — место, заросшее непроходимым лесом (*здесь и далее прим. ред.*).

твоем кольце, змеиная головка выдавлена и два зеленых камня, как глаза, горят.

Задумался змеиный царь, а потом снял кольцо с руки и отдал Семену и сказал ему потихоньку на ухо, как надо действовать кольцом, чтобы вызывать волшебную силу.

Попрощался Семен со змеиным царем и с дочерью его Скарапеей, а невдалеке тут стоял еще приемный сын змеиного царя — Аспид; так Семен и с ним попрощался.

Пришел Семен домой, к матери. А ночью, как мать легла на покой, Семен переменил змеиное кольцо с пальца на палец, и в тот же момент явились перед ним двенадцать молодцов.

— Здравствуй, новый хозяин! — говорят. — Чего тебе надобно?

— А насыпать, братцы, муки амбар[2], да сахару, да масла немного.

— Ин ладно, — молодцы говорят.

И пропали.

Проснулся Семен наутро, видит — мать корки сухие мочит да жует их старыми зубами.

— Чего ж ты, мать, теста не поставила и не охаживаешь его? Поставила бы тесто и пирогов

---

[2] Сноски: 2

Амба́р — строение для хранения зерна, муки, припасов, а также товаров.

бы напекла.

— Очнись, сынок! У нас второе лето муки и горсти нету.

— А ты наведайся, мама, в амбар — гляди, и найдешь.

— Да там и мыши с голоду подохли! Чего глядеть в пустое место? Нетто дверь пойти наглухо припереть.

Пошла мать к амбару, тронула дверь, а дверь распахнулась, и мать Семена головой в муку так и упала.

С тех пор они стали жить сытно. Половину муки Семен продал и купил на все деньги говядины, так у них и кошка с собакой каждый день котлеты ели, шерсть у них лосниться стала.

И увидел однажды Семен видение во сне. Только он задремал, видит как живую прекрасную девицу, а проснулся — нету ее. Затосковал Семен по ней, а где она, и сам не знает.

Переодел он змеиное кольцо с пальца на палец. И двенадцать молодцов — вот они.

— Чего прикажешь, хозяин? — спрашивают.

Семен им: так и так, говорит, видел я прекрасную девицу, а где она, не знаю, а туда-то мне и надобно.

Глядь — и очутился Семен в другом царстве, где

жила та самая прекрасная девица.

Спросил он у тамошнего жителя о прекрасной девице.

— Это которая? — спросил у Семена житель.

Семен рассказал, какая была девица.

— Так она царская дочь! — сказал ему житель.

Переместил Семен кольцо и велел молодцам доставить его во дворец к царевне. Очутился он во дворце, видит он молодую царевну, и тут она еще лучше была, чем почудилась ему во сне.

Вздохнул Семен — чего будешь делать? — и опять за кольцо: вызвал молодцов и велел возвратить его домой.

Вот живет он дома, да грустно ему без царевны: и пища не естся, и брага не пьется.

Смотрит на него мать:

— Заболел ты, что ли, либо скучаешь о ком?

— Скучаю, мама, — сказал Семен и рассказал, что с ним случилось.

А мать, как услышала, испугалась:

— И чего ты удумал! Да разве можно крестьянскому сыну царевну любить? Цари-то — люди ложные и лукавые, они и насмеются и надругаются над тобой, и жизни тебя лишат, а уж дочь за тебя не выдадут! Женись-ка ты на бедной крестьянской девушке, глядишь — и счастливым

будешь!

А Семен одно говорит: иди, мать, да иди — сватай за меня царевну. А мать не идет, не хочет. Подумал тогда Семен, что ему делать, и выдумал. Взялся он за свой змеиный перстень, вызвал молодцов. Те — вот они:

— Чего надобно, хозяин?

— А надобно мне хоромы и чтоб к утру были готовы. А для матери устройте в хоромах богатые покои и в постель ей положите пуховую перину.

— Построим хоромы, хозяин, и перину пухом набьем!

Проснулась наутро Семенова мать, а подняться сразу не может: угрузла[3] она в пуховой перине. Смотрит вокруг по горнице[4] — узнать ничего не может: во сне, что ли, это иль взаправду?

Тут Семен к ней подошел и говорит:

— Здравствуй, мама!

Значит, все взаправду.

Спрашивает она:

— Откуда же у нас добро такое явилось?

А сын ей в ответ:

— Добро, мама, из добра явилось. Теперь и тебе

---

[3] Сноски: 3
Угру́зла — утонула в пуховой перине.

[4] Сноски: 4
Го́рница — комната (первоначально в верхнем этаже).

жить покойнее будет, и мне за кого хочешь свататься можно — всем я ровня.

Подумала мать: «Ишь, сын у меня какой умелый да удалый!»

А сын ей опять за свое:

— Ступай, матушка, к царю и царице, посватай за меня царевну.

Огляделась мать, прошлась по хоромам.

«Эко дивно стало у нас!» — видит она и решила: «А схожу-ка я и вправду к царю, посватаю его дочку! Хоть и не ровня мы ему, да уж теперь нам до него недалече».

И пошла.

Приходит она в царскую избу, в столовую горницу. Царь с царицей в тот час чай пили и на блюдца дули, а молодая царевна в своей девичьей горенке приданое перебирала в сундуках.

Вот царь с царицей в блюдца дуют, на Семенову мать не глядят. Из блюдец брызги летят, чай проливается на скатерть, а чай с сахаром. Царь, а чай пить не умеет!

Семенова мать и говорит:

— Чай — не вода. Чего брызгаете?

Царь глянул на нее:

— А тебе чего надоть?

Вышла мать на середину горницы, под мати-

цу[5].

— Здравствуйте, — говорит, — царь-государь-император. У вас товар, у нас купец. А не отдадите ли вашу дочь замуж за нашего сына?

— А кто таков твой жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?

Мать в ответ:

— Роду он крестьянского, деревни нездешней, а по отчеству Семен Егорович. Не слыхал такого?

Тут царица так и ахнула:

— Да что ты, сватья, с ума, что ль, сошла? Мы в женихах-то как в сору каком роемся — выбираем. Разве пойдет наша дочка за мужика?

Обиделась Семенова мать за сына:

— Это какой мужик, матушка, случится! Другой мужик — против него и десять царских сыновей ничего не стоят, а уж про девок-дочерей и говорить нечего! Таков вот и мой!

Царь придумал здесь хитрость.

— Пусть, — говорит, — твой жених от нашего избяного дворца да до вашего крыльца мост хрустальный построит. Тогда мы по такому мосту приедем женихово житье смотреть. Так-то!

Вернулась Семенова мать к родному двору. В

---

[5] Сноски: 5
Ма́тица — потолочная балка.

сенях[6] ей попались навстречу собака с кошкой, гладкие стали.

Мать в сердцах прогнала их прочь. «Ишь, — подумала, — только спят да едят! Какая от них польза!»

Сказала она сыну:

— Понапрасну ходила, не согласны они.

Семен удивился:

— Неужели не согласны? За меня-то?

— А ты думал — обрадуются? А царь еще и посмеялся над нами: «Пусть, — говорит, — от нас до вас жених мост хрустальный построит, а мы к вам по хрусталю приедем в гости».

— Это, мама, ничто для нас!

Ночью Семен переметнул кольцо с одной руки на другую, вызвал молодцов и велел им построить к утру хрустальный мост и чтоб мост от ихнего крыльца до царского избяного дворца поверх прошел, через все реки, овраги, и чтоб по мосту самосильная машина ходила.

С полуночи до зари повсюду окрест молотки стучали и пилы пилили. Семен вышел утром на крыльцо, глядит — а мост уж готов и по хрустальному мосту ходит самосильная машина.

---

[6] Сноски: 6

Се́ни — в деревенских избах и в старину в городских домах: помещение между жилой частью дома и крыльцом.

Семен к матери:

— Ступай, мама, к царю теперь. Пусть они в гости к нам собираются, а я на самосильной машине туда подкачу!

Пошла мать к царю.

Только ступила она на мост, на хрусталь на самый, а хрусталь скользкий, тут ветер подул на нее сзади, она присела от страху, да так и покатилась до самого царского крыльца.

Приходит она к царю:

— Вчерась была я у вас, так вы мост построить велели жениху. Погляди в окошко — вот тебе и мост готов.

Глянул царь в окошко:

— Ишь ты! Ан правда — мост! Знать, жених-то умелец!

Надел царь золотые парчовые штаны, надел корону, кликнул царицу и вышел на крыльцо. Пошатал он перила — прочно ли стоят?

Похлопал ладонями по хрустальным кирпичам — не подделка ли? Нет, мост построен по доброте.

Тут Семен на чудно́й самосильной машине подъехал. Отворяет он дверку в машине и говорит:

— Садитесь, царь-государь с женою-супругой,

пожалуйте к нам в гости.

— Я-то с охотой, — царь говорит, — а вот жена моя как бы не оробела.

Семен — к царице, а она руками машет:

— Не поеду! Страсть какая! Сронят в реку, так что тут хорошего!

Здесь явились вельможи[7] к царю. Старший вельможа совет подает:

— Надобно, государь, проехать, пример показать. Пусть не подумают, что ты оробел.

Делать нечего. Влез царь с царицей в машину, а вельможи на запятках, на штырях повисли, за крючья уцепились.

Засвистела, зашумела, загудела, задрожала машина, в звонок зазвонила, жаром-паром запыхтела, скакнула и поехала. Ехали, всю дорогу качались — спасибо, недалеко было, всего один мост переехать.

Доехали до Семеновых хоро́м; Семен из машины вышел, хотел царю дверку открыть, а уж вельможи вперед него поспели — волокут они из машины царя и царицу, поддувалами на них машут, в чувство их приводят, чтоб они опомнились.

---

[7] Сноски: 7

Вельмо́жа — в старое время: знатный и богатый сановник.

Царица серчает-кричит, а царь хоть и молчит, да, видно, ей поддакивает.

— Ой, тошно! — шумит царица. — Ох, укачало, растрясло и растрепало! Ой, шут с тобой, где ты есть, жених-то? Бери девку, а мы-то уж обратно пешком пойдем!

А далее вышло все по желанию Семена. Выдали за него девку-царевну, и стал он жить с женою. Сперва они хорошо жили, нечего сказать.

Да случилось вот что. Пошел Семен с женою в лес гулять. Зашли они далеко, уморились, легли под дерево и задремали.

В то время проходил по лесу Аспид, приемный сын Змея-царя. Аспид увидел кольцо на пальце Семена и от зависти превратился в гадюку. Он давно хотел, чтоб это кольцо было у него, он знал его волшебную силу, просил его у Змея. Однако Змей-царь не отдал Аспиду волшебного кольца и не сказал, как им надо действовать. Обратился Аспид в прекрасную девицу, прекраснее молодой жены Семена, разбудил Семена и позвал за собой. «Тогда и кольцо мое будет», — подумал Аспид.

А Семен поглядел на незнакомую прекрасную девицу, что манила его, и сказал ей:

— Ступай, куда шла. Хоть ты и хороша, даже лучше моей жены, да жена мне милее, за тобой

я не пойду.

Сказал так Семен и опять заснул.

Обратился тогда Аспид в прекрасного юношу, в молодца из молодцов. Вот разбудил он царевну, жену Семена, и красуется перед ней.

«Ой, ктой-то! — подумала царевна. — Да он лучше Семена! Вот бы мне в женихи такого, когда я девкой была!»

Приблизился Аспид к Семеновой жене и протянул ей руку. Царевна поднялась с земли, поглядела на Семена, а у него сор на лице, ноздрями он пыль раздувает.

— Ты чей? — спросила царевна у Аспида.

— А я царский сын, по прозванью Молодец из Молодцов.

— А я царская дочь!

— Пойдем со мной, я тебя не обижу!

— Пойдем, молодец! — сказала Семенова жена и подала Аспиду руку.

Аспид нашептал на ухо царевне, научил ее, что надо сделать, а царевна на все согласилась. Тогда Аспид ушел. А он научил ее вызнать у Семена действие волшебного кольца и принести ему то самое кольцо.

Вот пошла она с Семеном домой, взяла его за руку и спросила его, правда ли, что у него на

пальце кольцо волшебное. И если он любит ее, пусть скажет, как это кольцо действует.

Семен по доброте рассказал жене про свое кольцо. «Раз жена меня любит, — подумал Семен, — пусть и о кольце моем знает, она мне зла не сделает».

И надел Семен волшебное кольцо на палец жены. Когда кольцо понадобится, его всегда можно взять обратно.

А ночью царевна переместила кольцо с одного пальца на другой, и немедля явились двенадцать молодцов:

— Мы — вот они! Чем служить тебе, новая хозяйка?

Царевна дает им наказ:

— Служите мне вот чем. Возьмите эти хоромы да и мост хрустальный и перенесите их туда, где живет Молодец из Молодцов.

Только и был женат Семен, Егоров сын. Проснулся он с матерью — ничего у них нету, одна худая изба и амбар пустой, как прежде было. И остался Семен с одной матерью, еще кошка и собака при них, всего четверо, а есть им, считай, нечего.

Семен не вздохнул, не пожаловался. Вспомнил он, что мать ему говорила: не женись на царевне

— не будет счастья. Не послушался он матери!

Поглядел Семен с горя в окошко, видит — карета едет, а в ней — царь. Вышел царь из кареты как раз против Семенова окошка; смотрит — куда что делось: ни хоро́м нету, ни хрустального моста, ни света, ни блеску — одна худая изба, а в окошко на царя Семен глядит. Царь как закричит:

— А что тут такое? А где моя дочь-царевна? Ах ты, обманщик!

Семен вышел к царю, сказал ему правду, как было: что царская дочь взяла у него волшебное кольцо и обманула его.

Царь правде не поверил, а разгневался и велел посадить Семена в тюрьму, покуда он не скажет, где царская дочь.

Увели от матери сына, не стало у нее кормильца. Оголодала старуха. Кликнула она кошку и собаку и пошла побираться. Под одним окошком хлеба попросит, под другим съест. А тут захолодало, потемнело, лето состарилось, к зиме пошло.

Кошка и говорит собаке:

— Пропадем мы все. Пойдем царевну сыщем и возьмем от нее волшебное кольцо. Нас хозяин от смерти спас, теперь мы его спасем.

Собака была согласна. Она понюхала землю и побежала, а кошка — за нею.

Далеко им пришлось бежать. Сказывать скоро, а идти далеко.

Бежали они, бежали, покуда не увидели хрустальный мост и Семеновы хоромы, в которых и они прежде жили.

Собака осталась снаружи, а кошка пошла в хоромы. Забралась она в спальню, где спала царевна, Семенова обманщица. Увидела кошка: царевна во рту держит волшебное кольцо, меж зубов у нее оно блестит. Боится, знать, как бы не украли.

Поймала кошка мышку, надкусила ей ухо и научила ее уму-разуму, что мышка должна сделать. Влезла мышка на кровать, неслышно прошла по царевне и стала своим хвостиком свербить у нее в носу. Царевна чихнула, ртом дыхнула, кольцо на пол упало и покатилось. А кошка хвать кольцо — и в окно. Пока царевна проснулась, покуда она туда-сюда — кольца уж нету, и та мышка, что хвостиком у царевны в носу свербила, уж на кухне корочку грызет: она-де ни при чем.

А кошка и собака домой бегут. Они не спят, не едят — им некогда, они торопятся. Бегут они через горы, через лесные дебри, плывут через реки и чистыми полями бегут. Кошка волшебное кольцо держит под языком, рта не разевает.

Вот уже перед ними последняя река, — а за рекою видна ихняя деревня, там и Семенова изба. Собака говорит кошке:

— Садись ко мне на спину, а я поплыву. Да смотри кольцо держи крепче в зубах, не оброни.

Поплыли они по реке, доплыли до середины. Собака говорит:

— Смотри, кошка, не говори: кольцо утопишь.

Кошка молчит. Поплыли еще немного, собака опять:

— Молчи, кошка!

А кошка и так рта не открывает. Собака снова к ней:

— Не выброни кольца-то! Молчи лучше!

Кошка и сказала:

— Да я молчу! — и уронила кольцо в реку.

Выбрались они на берег и давай драться и ругаться. Собака визжит:

— Это ты виновата, кошка-болтушка!

А кошка в ответ:

— Нет, это ты, брехунья! Зачем ты говорила, когда я молчала?

А тут рыбаки вытащили сетью рыбу на берег и стали ее потрошить. Увидели они — кошка с собакой не ладят, подумали, что голодные, и бросили им рыбьи внутренности.

Схватили кошка с собакой рыбьи внутренности, стали есть, съели немного, вдруг — хряп! — твердое попалось. Глядят — кольцо! Оставили они еду и побежали в деревню. Пробежали мимо своей избы — нет ли там хозяина? Глядят — нету его, а мать побирается. Побежали в город, в тюрьму, где Семен был.

Взобралась кошка на тюремную ограду, ходит поверху, глядит, где Семен там, а не знает. Хочется ей помяукать, помурлыкать, да кольцо у нее под языком, боится обронить.

К вечеру выглянул Семен в тюремное окно, хотел поглядеть на белый свет. Кошка увидела Семена и по дождевой трубе, а потом по стене забралась к Семену в каземат.

Семен взял кошку на руки. «Вот, — думает, — хоть и кошка, а сердце у нее верное, помнит она меня!»

Кошка мяукнула и обронила на пол волшебное кольцо.

Поднял Семен кольцо и вызвал двенадцать молодцов. Те явились, тут как тут.

— Здравствуй, дорогой старый хозяин, — говорят, — прикажи, чего тебе надобно, а мы живо исполним!

Семен им говорит:

— Перенесите откуда ни на есть мои хоромы сюда, и кто там живет, пусть в горницах будет, — я погляжу. И мост хрустальный приподымите да сюда его уставьте, а только другим концом отверните его от царской избы и опустите в соседнюю деревню.

Все и было исполнено, как приказано Семеном. Хоромы его стали на место, а в них оказалась молодая царевна с Аспидом своим. Ну ушли они из Семеновых хоро́м, пошли жить к отцу царевны, — куда же еще?

Аспид же, как узнал, что это царевна кольцо потеряла, так от злости превратился в змею-гадюку.

И не мог он обратиться в молодца, потому что не проходила в нем злоба на царевну. Так и остался Аспид гадюкой; он только и делал, что шипел на царевну и бранил ее. Тут отец царевны вспомнил про Семена.

— Эх, — говорит, — а ведь Семен-то хоть и простой, да добрый малый был, а вот Аспид хоть и не простого рода, да ведь гадюка!

А Семен с матерью опять в хоромах жили, и собака с кошкой при них.

Семен на самосильной машине каждый день наведывается в соседнюю деревню, по хрусталь-

ному мосту дорога туда близкой стала.

Слышно еще, Семен из той деревни жену себе берет; живет там одна девушка-сирота, прекраснее той царевны, вот ее и сватает Семен.

Должно, так и будет — женится Семен на сироте, пойдут у них дети, и новая сказка начнется.

1950

Умная внучка

Жили старик со старухой, с ними внучка Дуня жила. И не такая уж Дуня была красивая, как в сказках сказывается, только умница она была и охотная к домашней работе.

Вот раз собираются старики на базар в большое село и думают: как им быть? Кто им щи сварит и кашу сготовит, кто корову напоит и подоит, кто курам проса даст и на насест их загонит? А Дуня им говорит:

— Кто ж, как не я! Я и щи сварю и кашу напарю, я и корову из стада встречу и на ночь ее обряжу, я и кур угомоню, я и в избе приберу, я и сено поворошу, пока ведро[8] стоит на дворе.

— Да ты мала еще, внученька, — говорит ей бабушка, — семь годов всего сроку тебе!

— Семь — не два, бабушка, семь — это много. Я управлюсь!

Уехали дедушка с бабушкой на базар, а к вечеру воротились. Видят они, и правда: в избе прибрано, пища сготовлена, на дворе порядок, скотина и птица сытые, сено просушено, плетень починен

---

[8] Сноски: 8
Ведро — летняя сухая и ясная погода.

(дедушка-то два лета собирался его починить), вокруг колодезного сруба песком посыпано — наработано столько, что словно тут четверо было.

Глядят старик со старухой на свою внучку и думают: жить им теперь да радоваться!

Однако недолго пришлось бабушке радоваться на внучку; заболела бабушка и померла. Остался старик один с Дуней. Трудно было дедушке одному остаться на старости лет. Вот живут они одни, без бабушки. Дуня ублажает[9] дедушку и всякую работу в хозяйстве справляет одна; хоть мала была, да ведь прилежна.

Случилось дедушке в город поехать, надобность пришла. По дороге он нагнал богатого соседа, тот тоже в город ехал. Поехали они вместе. Ехали-ехали, и ночь наступила.

Богатый сосед и бедный Дунин дедушка увидели огонек в придорожной избе и постучались в ворота. Стали они на ночлег, распрягли лошадей; у Дуниного дедушки-то была кобыла, а у богатого мужика мерин.

Ночью дедушкина лошадь родила жеребенка, а жеребенок несмышленый, отвалился он от матери и очутился под телегой того богатого мужика.

---

[9] Сноски: 9
Ублажáть — угождать, доставлять удовольствие.

Проснулся утром богатый.

— Гляди-ко, сосед, — говорит он старику, — у меня мерин жеребенка ночью родил!

— Как можно! — дедушка говорит. — В камень просо не сеют, а мерин жеребят не рожает! Это моя кобыла принесла!

А богатый сосед:

— Нет, — говорит, — это мой жеребенок! Кабы твоя кобыла принесла, жеребенок-то и был бы возле нее! А то ишь где — под моей телегой!

Заспорили они, а спору конца нету: у бедного правда, а у богатого выгода, один другому не уступает.

Приехали они в город. В том городе в те времена царь жил. А царь тот был самый богатый человек во всем царстве, он считал себя самым умным человеком и любил судить-рядить своих подданных.

Вот пришли богатый и бедный к царю-судье. Дунин дедушка и жалуется царю:

— Не отдает мне богатый жеребенка, говорит-де жеребенка мерин родил!

А царю-судье что за дело до правды: он и так и этак мог рассудить, да ему сперва потешиться захотелось. И он сказал:

— Вот четыре загадки вам — кто решит, тот и

жеребенка получит: «Что всего на свете сильней и быстрей?», «А что всего на свете жирней?», а еще «Что всего мягче и что всего милее?»

Дал им царь сроку три дня, а на четвертый день чтоб ответ был. А пока суд да дело, царь велел оставить у себя во дворе и дедушкину лошадь с жеребенком и телегой, и мерина богатого мужика: пусть и бедный и богатый пешими живут, пока их царь не рассудит.

Пошли богатый и бедный домой. Богатый думает: пустое, дескать, царь загадал, я отгадку знаю. А бедный горюет: не знает он отгадки.

Дуня встретила дедушку и спрашивает:

— О ком ты, дедушка, скучаешь? О бабушке? Так ведь я с тобой осталась!

Рассказал дедушка внучке, как дело было, и заплакал: жалко ему жеребенка.

— А еще, — дедушка говорит, — царь загадки загадал, а я отгадки не знаю. Где уж мне их отгадать!

— А скажи, дедушка, каковы загадки? Не умнее они ума.

Дедушка сказал загадки. Дуня послушала и говорит в ответ:

— Поедешь к царю и скажешь: сильнее и быстрее всего на свете ветер; жирнее всего — земля:

что ни растет на ней, что ни живет — всех она питает; а мягче всего на свете руки, дедушка: на что человек ни ляжет, все руку под голову кладет; а милее сна ничего на свете не бывает, дедушка.

Через три дня пришли к царю-судье Дунин дедушка и его богатый сосед. Богатый и говорит царю:

— Хоть и мудрые твои загадки, государь наш судья, а я их сразу отгадал. Сильнее и быстрее всего — так это каряя[10] кобыла из вашей конюшни: коли кнутом ее ударить, так она зайца догонит. А жирнее всего — так это тоже ваш рябой боров: он такой жирный стал, что давно на ноги не поднимается. А мягче всего ваша пуховая перина, на которой вы почиваете. А милее всего ваш сынок Никитушка!

Послушал царь-судья — и к старику-бедняку:

— А ты что скажешь? Принес отгадку или нет?

Старик и отвечает, как внучка его научила. Отвечает, а сам боится: должно быть, не так он отгадывает; должно быть, богатый сосед правильно сказал. Царь-судья выслушал и спрашивает:

— Сам ты придумал ответ иль научил тебя кто?

---

[10] Сноски: 10

Ка́ряя (кобыла) — масть лошади: самая темная гнедая.

Старик правду говорит:

— Да где ж мне самому-то, царь-судья! Внучка у меня есть, таково смышленая да умелая, она и научила меня.

Царю любопытно стало, да и забавно, а делать ему все равно нечего.

— Коли умна твоя внучка, — говорит царь-судья, — и на дело умелая, отнеси ей вот эту ниточку шелковую. Пусть она соткет мне полотенце узорчатое, и чтоб к утру готово было. Слыхал иль нет?

— Слышу, слышу! — отвечает дедушка царю. — Аль я уж бестолковый такой!

Спрятал он ниточку за пазуху и пошел домой. Идет, а сам робеет: где уж тут из одной нитки целое полотенце соткать — того и Дунюшка не сумеет… Да к утру, еще и с узорами!

Выслушала Дуня своего деда и говорит:

— Не кручинься, дедушка, это не беда еще!

Взяла она веник, отломила от него прутик, подала дедушке и сказала:

— Пойди к царю-судье этому и скажи ему: пусть найдет он такого мастера, который сделает из этого прутика кросны[11], чтобы было мне на чем

---

[11] Сноски: 11

Кро́сны — ткацкий станок.

полотенце ткать.

Пошел старик опять к царю. Идет, а сам другой беды ждет, другой задачи, на которую и ума у Дунюшки не хватит.

Так оно и вышло.

Дал царь старику полтораста яиц и велел, чтобы стариковская внучка к завтрашнему дню полтораста цыплят вывела.

Вернулся дед ко двору.

— Одна беда не ушла, — говорит, — другая явилась.

И рассказал он внучке новую царскую задачу.

А Дуня ему в ответ:

— И это еще не беда, дедушка!

Взяла она яйца, испекла их и к ужину подала. А на другой день говорит:

— Ступай, дедушка, сызнова к царю. Скажи ему, чтобы прислал он цыплятам на корм однодневного пшена; пусть в один день поле вспашут, просом засеют, созреть дадут, а потом сожнут да обмолотят, провеют и обрушат. Скажи царю: цыплята другого пшена не клюют, того гляди помрут.

И пошел дед сызнова. Выслушал его царь-судья и говорит:

— Хитра твоя внучка, да и я не прост. Пусть твоя

внучка явится утром ко мне — ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, да и не без подарочка!

Пошел дед домой. «Эка прихоть!» — думает.

Как узнала Дуня новую загадку, то загорюнилась было, а потом повеселела и говорит:

— Ступай, дедушка, в лес к охотникам да купи мне живого зайца и перепелку живую. Ан нет, ты не ходи, ты уже старый, ты уморился ходить, ты отдыхай. Я сама пойду — я маленькая, мне охотники и даром дадут зайца и перепелку, а покупать их нам не на что.

Отправилась Дунюшка в лес и принесла оттуда зайца да перепелку. А как наступило утро, сняла с себя Дуня рубаху, надела рыбацкую сеть, взяла в руки перепелку, села верхом на зайца и поехала к царю-судье.

Царь как увидел ее, удивился и испугался:

— Откуда страшилище едет такое? Прежде не видано было такого урода!

А Дунюшка поклонилась царю и говорит:

— Вот тебе, батюшка, принимай, что принести велено было!

И подает ему перепелку. Протянул руку царь-судья, а перепелка — порх! — и улетела. Поглядел царь на Дуню.

— Ни в чем, — говорит, — не отступила: как я велел, так ты и приехала. А чем вы, — спрашивает, — кормитесь с дедом?

Дуня отвечает царю:

— А мой дедушка на сухом берегу рыбу ловит, он сетей в воду не становит. А я подолом рыбу домой ношу да уху в горсти варю!

Царь-судья осердился:

— Что ты говоришь, глупая! Где это рыба на сухом берегу живет? Где уху в горстях варят?

А Дуня против ему говорит:

— А ты-то ль умен? Где это видано, чтобы мерин жеребенка родил? А в твоем царстве и мерин рожает!

Озадачился тут царь-судья:

— А как узнать было, чей жеребенок? Может, чужой забежал!

Осерчала Дунюшка.

— Как узнать? — говорит. — Да тут бы и дурень рассудил, а ты царь! Пусть мой дедушка на своей лошади в одну сторону поедет, а богатый сосед — в другую. Куда побежит жеребенок, там и матерь его.

Царь-судья удивился:

— А ведь и правда! Как же я-то не рассудил, не догадался?

— А коли бы ты по правде судил, — ответила Дуня, — тебе бы и богатым не быть.

— Ах ты, язва! — сказал царь. — Что дале из тебя выйдет, когда ты большая вырастешь?

— А ты рассуди сперва, чей жеребенок, тогда я и скажу тебе, кем я большая буду!

Царь-судья назначил тут суд на неделе. Пришли на царский двор Дунин дедушка и сосед их богатый. Царь велел вывести их лошадей с телегами. Сел Дунин дедушка в свою телегу, а богатый в свою; и поехали они в разные стороны. Царь и выпустил тогда жеребенка, а жеребенок побежал к своей матери, дедушкиной лошади. Тут и суд весь. Остался жеребенок у дедушки.

А царь-судья спрашивает у Дуни:

— Скажи теперь, кем же ты большая будешь?

— Судьею буду.

Царь засмеялся:

— Зачем тебе судьею быть? Судья-то ведь я!

— Тебя чтоб судить.

Дедушка видит — плохо дело, как бы царь-судья не рассерчал. Схватил он внучку да в телегу ее. Погнал он лошадь, а жеребенок рядом бежит.

Царь выпустил им вслед злого пса, чтоб он разорвал внучку и деда. А Дунин дедушка хоть и стар был, да сноровист и внучку в обиду никому

не давал. Пес догнал телегу, кинулся было, а дед его кнутовищем, кнутовищем, а потом взял запасную важку — оглобельку, что в телеге лежала, да оглобелькой его — пес и свалился.

А дедушка обнял внучку.

— Никому, никому, — говорит, — я тебя не отдам: ни псу, ни царю. Расти большая, умница моя.

1950

Финист – Ясный Сокол

Жили в деревне крестьянин с женой; было у них три дочери. Дочери выросли, а родители постарели, и вот пришло время, пришел черед — умерла у крестьянина жена. Стал крестьянин один растить своих дочерей. Все три его дочери были красивые и красотой равные, а нравом — разные.

Старый крестьянин жил в достатке и жалел своих дочерей. Захотел он было взять во двор какую ни есть старушку-бобылку, чтобы она по хозяйству заботилась. А меньшая дочь, Марьюшка, говорит отцу:

— Не надобно, батюшка, бобылку брать, я сама буду по дому заботиться.

Марья радетельная[12] была. А старшие дочери ничего не сказали.

Стала Марьюшка вместо своей матери хозяйство по дому вести. И все-то она умеет, все у нее ладится, а что не умеет, к тому привыкает, а привыкши, тоже ладит с делом. Отец глядит и радуется, что Марьюшка у него такая умница

---

[12] Сноски: 12
Радéтельный — заботливый.

да работящая и нравом кроткая. И из себя Марьюшка была хороша — красавица писаная, и от доброты краса ее прибавлялась. Сестры ее старшие тоже были красавицы, только им все мало казалось своей красоты, и они старались прибавить ее румянами и белилами и еще в обновки нарядиться.

Сидят, бывало, две старшие сестрицы да целый день охорашиваются, а к вечеру все такие же, что и утром были. Заметят они, что день прошел, сколько румян и белил они извели, а лучше не стали, и сидят сердитые. А Марьюшка устанет к вечеру, зато знает она, что скотина накормлена, в избе прибрано, чисто, ужин она приготовила, хлеб на завтра замесила, и батюшка будет ею доволен. Глянет она на сестер своими ласковыми глазами и ничего им не скажет.

А старшие сестры тогда еще более сердятся. Им кажется, что Марья-то утром не такая была, а к вечеру похорошела — с чего только, они не знают.

Пришла нужда отцу на базар ехать. Он и спрашивает у дочерей:

— А что вам, детушки, купить, чем вас порадовать?

Старшая дочь говорит отцу:

— Купи мне, батюшка, полушалок[13], да чтоб цветы на нем большие были и золотом расписанные.

— А мне, батюшка, — средняя говорит, — тоже купи полушалок с цветами, что золотом расписанные, а посреди цветов чтоб красное было. А еще купи мне сапожки с мягкими голенищами, на высоких каблучках, чтоб они о землю топали.

Старшая дочь обиделась на среднюю, у нее было алчное сердце, и сказала отцу:

— И мне, батюшка, и мне купи сапожки с мягкими голенищами и с каблучками, чтоб они о землю топали! А еще купи мне перстень с камешком на палец — ведь я у тебя одна старшая дочь!

Отец пообещал купить подарки, какие наказали две старшие дочери, и спрашивает у младшей:

— А ты чего молчишь, Марьюшка?

— А мне, батюшка, ничего не надо. Я со двора никуда не хожу, нарядов мне не нужно.

— Неправда твоя, Марьюшка! Как я тебя без подарка оставлю? Я тебе гостинец куплю.

— И гостинца не нужно, батюшка, — говорит младшая дочь. — А купи ты мне, батюшка роди-

---

[13] Сноски: 13
Полуша́лок — небольшая шаль.

мый, перышко Финиста — Ясна Сокола, коли оно дешевое будет.

Поехал отец на базар, купил он старшим дочерям подарки, какие они наказали ему, а перышко Финиста — Ясна Сокола не нашел. У всех купцов спрашивал.

«Нету, — говорили купцы, — такого товара; спросу, — говорят, — на него нету».

Не хотелось отцу обижать младшую дочь, свою работящую умницу, однако воротился он ко двору, а перышка Финиста — Ясна Сокола не купил.

А Марьюшка и не обиделась.

— Ничего, батюшка, — сказала Марьюшка, — в иной раз поедешь, тогда оно и купится, перышко мое.

Пришло время, и опять отцу нужда на базар ехать. Он и спрашивает у дочерей, что им купить в подарок, он добрый был.

Бóльшая дочь и говорит:

— Купил ты мне, батюшка, в прежний раз сапожки, так пусть кузнецы подкуют теперь каблучки на тех сапожках серебряными подковками.

А средняя слышит старшую и говорит:

— И мне, батюшка, тоже, а то каблучки стучат, а не звенят, пусть они звенят. А чтоб гвоздики из

подковок не потерялись, купи мне еще серебряный молоточек: я им гвоздики подбивать буду.

— А тебе чего купить, Марьюшка?

— А погляди, батюшка, перышко от Финиста — Ясна Сокола: будет ли, нет ли.

Поехал старик на базар. Дела свои скоро сделал и старшим дочерям подарки купил, а для младшей до самого вечера перышко искал, да нет того перышка, никто его в покупку не дает.

Вернулся отец опять без подарка для младшей дочери. Жалко ему стало Марьюшку, а Марьюшка улыбнулась отцу: она и тому рада была, что снова увидела своего родителя.

Пришло время, поехал отец опять на базар.

— Чего вам, дочки родные, в подарок купить?

Старшая подумала и сразу не придумала, чего ей надо.

— Купи мне, батюшка, чего-нибудь.

А средняя говорит:

— И мне, батюшка, купи чего-нибудь, а к чему-нибудь добавь еще что-нибудь.

— А тебе, Марьюшка?

— А мне купи ты, батюшка, одно перышко Финиста — Ясна Сокола.

Поехал старик на базар. Дела свои сделал. Старшим дочерям подарки купил, а младшей ничего

не купил: нету того перышка на базаре.

Едет отец домой, и видит он: идет по дороге старый старик, старше его, вовсе ветхий.

— Здравствуй, дедушка!

— Здравствуй, милый. О чем у тебя кручина?

— А как ей не быть, дедушка! Наказывала мне дочь купить ей одно перышко Финиста — Ясна Сокола. Искал я ей то перышко, а его нету. А дочь-то она у меня меньшая, пуще всех мне ее жалко.

Старый старик задумался, а потом и говорит:

— Ин так и быть!

Развязал он заплечный мешок и вынул из него коробочку.

— Спрячь, — говорит, — коробочку, в ней перышко от Финиста — Ясна Сокола. Да упомни еще: есть у меня один сын; тебе дочь жалко, а мне сына. Ан не хочет мой сын жениться, а уж время ему пришло. Не хочет — неволить нельзя. И сказывает он мне: кто-де попросит у тебя это перышко, ты отдай, говорит, — это невеста моя просит.

Сказал свои слова старый старик — и вдруг нету его, исчез он неизвестно куда: был он или не был!

Остался отец Марьюшки с перышком в руках. Видит он то перышко, а оно серое, простое. А ку-

пить его нельзя было нигде. Вспомнил отец, что старый старик ему сказал, и подумал: «Видно, Марьюшке моей судьба такая выходит — не знавши, не видавши, выйти замуж неведомо за кого».

Приехал отец домой, подарил подарки старшим дочерям, а младшей отдал коробочку с серым перышком.

Нарядились старшие сестры и посмеялись над младшей.

— А ты воткни свое воробьиное перышко в волоса да и красуйся.

Марьюшка промолчала, а когда в избе легли все спать, она положила перед собой простое, серое перышко Финиста — Ясна Сокола и стала им любоваться. А потом Марьюшка взяла перышко в свои руки, подержала его при себе, погладила и нечаянно уронила на пол.

Тотчас ударился кто-то в окно. Окно открылось, и влетел в избу Финист — Ясный Сокол. Приложился он до полу и обратился в прекрасного молодца. Закрыла Марьюшка окно и стала с молодцем разговор разговаривать. А к утру отворила Марьюшка окно, приклонился молодец до полу, обратился молодец в ясного сокола, а сокол оставил по себе простое, серое перышко и улетел в синее небо.

Три вечера привечала Марьюшка сокола. Днем он летал по поднебесью, над полями, над лесами, над горами, над морями, а к вечеру прилетал к Марьюшке и делался добрым молодцем.

На четвертый вечер старшие сестры расслышали тихий разговор Марьюшки, услышали они и чужой голос доброго молодца, а наутро спросили младшую сестру:

— С кем это ты, сестрица, ночью беседуешь?

— А я сама себе слова говорю, — ответила Марьюшка. — Подруг у меня нету, днем я в работе, говорить некогда, а вечером я беседую сама с собой.

Послушали старшие сестры младшую, да не поверили ей. Сказали они батюшке:

— Батюшка, а у Марьи-то нашей суженый есть, она по ночам с ним видится и разговор с ним разговаривает. Мы сами слыхали.

А батюшка им в ответ:

— А вы бы не слушали, — говорит. — Чего у нашей Марьюшки суженому не быть? Худого тут нету, девица она пригожая и в пору свою вышла; придет и вам черед.

— Так Марья-то не по чередý суженого своего узнала, — сказала старшая дочь. — Мне бы сталось первее ее замуж выходить.

— Оно правда твоя, — рассудил батюшка. — Так судьба-то не по счету идет. Иная невеста в девках до старости лет сидит, а иная с младости всем людям мила.

Сказал так отец старшим дочерям, а сам подумал: «Иль уж слово того старого старика сбывается, что перышко мне подарил? Беды-то нету, да хороший ли человек будет суженый у Марьюшки?»

А у старших дочерей свое желание было. Как стало время на вечер, Марьюшкины сестры вынули ножи из черенков, а ножи воткнули в раму окна и вкруг него, а кроме ножей воткнули еще туда острые иголки да осколки старого стекла. Марьюшка в то время корову в хлеву убирала и ничего не видела.

И вот, как стемнело, летит Финист — Ясный Сокол к Марьюшкиному окну. Долетел он до окна, ударился об острые ножи да об иглы и стекла, бился-бился, всю грудь изранил, а Марьюшка уморилась за день в работе, задремала она, ожидаючи Финиста — Ясна Сокола, и не слышала, как бьется ее сокол в окно.

Тогда Финист сказал громко:

— Прощай, моя красная девица! Коли нужен я тебе, ты найдешь меня, хоть и далеко я буду! А

прежде того, идучи ко мне, ты башмаков железных три пары износишь, трое посохов чугунных о траву подорожную сотрешь, три хлеба каменных изглодаешь.

И услышала Марьюшка сквозь дрему слова Финиста, а встать, пробудиться не могла. А утром пробудилась она, загоревало ее сердце. Посмотрела она в окно, а в окне кровь Финиста на солнце сохнет. Заплакала тогда Марьюшка. Отворила она окно и припала лицом к месту, где была кровь Финиста-сокола.

Слезы смыли кровь сокола, а сама Марьюшка словно умылась кровью суженого и стала еще краше.

Пошла Марьюшка к отцу и сказала ему:

— Не брани меня, батюшка, отпусти меня в путь-дорогу дальнюю. Жива буду — свидимся, а помру — на роду, знать, мне было написано.

Жалко было отцу отпускать неведомо куда любимую младшую дочь. А неволить ее, чтоб дома она жила, нельзя. Знал отец: любящее сердце девицы сильнее власти отца и матери. Простился он с любимой дочерью и отпустил ее.

Кузнец сделал Марьюшке три пары башмаков железных и три посоха чугунных, взяла еще Марьюшка три каменных хлеба, поклонилась она

батюшке и сестрам, могилу матери навестила и отправилась в путь-дорогу искать Финиста — Ясна Сокола.

Идет Марьюшка путем-дорогою. Идет она не день, не два, не три дня, идет она долгое время. Шла она и чистым полем, и темным лесом, шла и высокими горами. В полях птицы ей песни пели, темные леса ее привечали, с высоких гор она всем миром любовалась. Шла Марьюшка столько, что одну пару башмаков железных она износила, чугунный посох о дорогу истерла и каменный хлеб изглодала, а путь все не кончается, и нету нигде Финиста — Ясна Сокола.

Вздохнула тогда Марьюшка, села на землю, стала она другие железные башмаки обувать — и видит избушку в лесу. А уж ночь наступила.

Подумала Марьюшка: «Пойду в избушку людей спрошу, не видали ли они моего Финиста — Ясна Сокола?»

Постучалась Марьюшка в избушку. Жила в той избушке одна старуха — добрая или злая, про то Марьюшка не знала. Отворила старушка сени — стоит перед ней красная девица.

— Пусти, бабушка, ночевать!

— Входи, голубушка, гостьей будешь. А далеко ли ты идешь, молодая?

— Далеко ли, близко, сама не знаю, бабушка. А ищу я Финиста — Ясна Сокола. Не слыхала ли ты про него, бабушка?

— Как не слыхать! Я старая, давно на свете живу, я про всех слыхала! Далеко тебе идти, голубушка.

Наутро хозяйка-старуха разбудила Марьюшку и говорит ей:

— Ступай, милая, теперь к моей середней сестре. Она старше меня и ведает больше. Может, она добру тебя научит и скажет, где твой Финист живет. А чтоб ты меня, старую, не забыла, возьми-ка вот серебряное донце да золотое веретенце, станешь кудель прясти, золотая нитка потянется. Береги мой подарок, пока он дорог тебе будет, а не дорог станет — сама его подари.

Марьюшка взяла подарок, полюбовалась им, наказала хозяйке:

— Благодарствую, бабушка. А куда же мне идти, в какую сторону?

— А я тебе клубочек дам — самокат. Куда клубочек покатится, и ты ступай за ним вослед. А передохнуть задумаешь, сядешь на травку — и клубочек остановится, тебя ожидать будет.

Поклонилась Марьюшка старухе и пошла вослед за клубочком. Долго ли, коротко ли шла

Марьюшка, пути она не считала, сама себя не жалела, а видит она — леса стоят темные, страшные, в полях трава растет нехлебная, колючая, горы встречаются голые, каменные, и птицы над землей не поют. Шла Марьюшка все далее, все скорее она спешила. Глядь, опять переобуваться надо: другая пара башмаков железных износилась, и посох чугунный о землю истерся, и каменный хлеб она изглодала.

Села Марьюшка переобуваться. Видит она — черный лес близко, и ночь наступает, а в лесу в одной избушке огонек зажгли в окне.

Клубочек покатился к той избушке. Пошла за ним Марьюшка и постучалась в окошко:

— Хозяева добрые, пустите ночевать!

Вышла на крыльцо избушки старуха, старее той, что прежде привечала Марьюшку.

— Куда идешь, красная девица? Кого ты ищешь на свете?

— Ищу, бабушка, Финиста — Ясна Сокола. Была я у одной старушки в лесу, ночь у нее ночевала, она про Финиста слыхала, а не ведает его. Может, сказывала, середняя ее сестра ведает.

Пустила старуха Марьюшку в избу. А наутро разбудила гостью и сказала ей:

— Далеко тебе искать Финиста будет. Ведать я

про него ведала, да видать — не видала. А иди ты теперь к нашей старшей сестре, она и знать про него должна. А чтоб помнила ты обо мне, возьми от меня подарок. По радости он тебе памятью будет, а по нужде помощь окажет.

И дала хозяйка-старушка своей гостье серебряное блюдо и золотое яичко.

Попросила Марьюшка у старой хозяйки прощенья, поклонилась ей и пошла вослед клубочку. Идет Марьюшка, а земля вокруг нее вовсе чужая стала.

Смотрит она — один лес на земле растет, а чистого поля нету. И деревья, чем далее катится клубок, все выше растут. Совсем темно стало: солнца и неба не видно.

А Марьюшка и по темноте все шла да шла, пока железные башмаки ее насквозь не истоптались, а посох о землю не истерся и покуда последний каменный хлеб она до остатней крошки не изглодала.

Огляделась Марьюшка — как ей быть? Видит она свой клубочек: лежит он под окошком у лесной избушки. Постучала Марьюшка в окно избушки:

— Хозяева добрые, укройте меня от темной ночи!

Вышла на крыльцо древняя старушка, самая старшая сестра всех старух.

— Ступай в избу, голубка, — говорит. — Ишь, куда как далече пришла! Далее и не живет на земле никто, я крайняя. Тебе в иную сторону завтра с утра надобно путь держать. А чья же ты будешь и куда идешь?

Отвечала ей Марьюшка:

— Я нездешняя, бабушка. А ищу я Финиста — Ясна Сокола.

Поглядела старшая старуха на Марьюшку и говорит ей:

— Финиста-сокола ищешь? Знаю я, знаю его. Я давно на свете живу, уж так давно, что всех узнала, всех запомнила.

Уложила старуха Марьюшку, а наутро разбудила ее.

— Давно, — говорит, — я добра никому не делала. Одна в лесу живу, все про меня забыли, одна я всех помню. Тебе добро и сделаю: скажу тебе, где твой Финист — Ясный Сокол живет. А и отыщешь ты его, трудно тебе будет: Финист-сокол теперь женился, он со своей хозяйкой живет. Трудно тебе будет, да сердце у тебя есть, а на сердце и разум придет, а от разума и трудное легким станет.

Марьюшка сказала в ответ:

— Благодарствую тебе, бабушка, — и поклонилась ей в землю.

— Благодарствовать мне после будешь. А вот тебе подарочек — возьми от меня золотое пялечко да иголочку: ты пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ступай теперь, а что нужно будет делать тебе — пойдешь, сама узнаешь.

Клубочек далее не катился. Вышла на крыльцо старшая старуха и указала Марьюшке, в какую сторону ей надо идти.

Пошла Марьюшка, как была, босая. Подумала: «Как пойду? Земля здесь твердая, чужая, к ней привыкнуть нужно…»

Прошла она недолго времени. И видит — стоит на поляне богатый двор. А во дворе терем: крыльцо резное, оконца узорчатые. У одного оконца сидит богатая, знатная хозяйка и смотрит на Марьюшку: чего, дескать, ей надо.

Вспомнила Марьюшка: обуться ей теперь не во что и последний каменный хлеб она изглодала в дороге.

Сказала она хозяйке:

— Здравствуй, хозяюшка! Не надобно ли вам работницу за хлеб, за одежу-обужу?

— Надобно, — отвечает знатная хозяйка. — А умеешь ли ты печи топить, и воду носить, и обед

стряпать?

— Я у батюшки без матушки жила — я все умею.

— А умеешь ты прясть, ткать и вышивать?

Вспомнила Марьюшка о подарках старых бабушек.

— Умею, — говорит.

— Ступай тогда, — хозяйка говорит, — на кухню людскую.

Стала Марьюшка работать и служить на чужом богатом дворе. Руки у Марьюшки честные, усердные — всякое дело ладится у ней.

Хозяйка глядит на Марьюшку да радуется: не было еще у нее такой услужливой, да доброй, да смышленой работницы; и хлеб Марьюшка ест простой, запивает его квасом, а чаю не просит. Похвалилась хозяйка своей дочери.

— Смотри, — говорит, — работница какая у нас во дворе: покорная да умелая и на лицо ласковая!

Посмотрела хозяйкина дочь на Марьюшку.

— Фу! — говорит. — Пусть она ласковая, а я зато краше ее, я и телом белее!

Вечером, как управилась с хозяйскими работами, села Марьюшка прясть. Села она на лавку, достала серебряное донце и золотое веретенце

и прядет. Прядет она, из кудели нитка тянется — нитка не простая, а золотая. Прядет она, а сама глядит в серебряное донце, и чудится ей, что видит она там Финиста — Ясна Сокола: смотрит он на нее, как живой на свете. Глядит Марьюшка на него и разговаривает с ним:

— Финист мой, Финист — Ясный Сокол, зачем ты оставил меня одну, горькую, плакать по тебе? Это сестры мои, разлучницы, кровь твою пролили.

А хозяйкина дочь вошла в ту пору в людскую избу, стоит поодаль, глядит и слушает.

— О ком ты горюешь, девица? — спрашивает она. — И какая у тебя забава в руках?

Марьюшка говорит ей:

— Горюю я о Финисте — Ясном Соколе. А это я нить пряду, полотенце Финисту буду вышивать — было бы ему чем поутру белое лицо утирать.

— А продай мне свою забаву! — говорит хозяйкина дочь. — Ан Финист-то муж мой, я и сама ему нить спряду.

Посмотрела Марьюшка на хозяйкину дочь, остановила свое золотое веретенце и говорит:

— У меня забавы нету, у меня работа в руках. А серебряное донце — золотое веретенце не продается: мне добрая бабушка его подарила.

Обиделась хозяйкина дочь: не хотелось ей золотое веретенце из рук своих выпускать.

— Если не продается, — говорит, — давай тогда мену делать, я тебе тоже вещь подарю.

— Подари, — сказала Марьюшка, — дозволь мне на Финиста — Ясна Сокола хоть раз одним глазком взглянуть!

Хозяйская дочь подумала и согласилась.

— Изволь, девица, — говорит. — Давай мне твою забаву.

Взяла она у Марьюшки серебряное донце — золотое веретенце, а сама думает: «Покажу я ей Финиста ненадолго, ничего с ним не станется — дам ему сонного зелья, а через это золотое веретенце мы с матушкой вовсе озолотимся!»

К ночи воротился из поднебесья Финист — Ясный Сокол; обратился он в доброго молодца и сел ужинать в семействе: теща-хозяйка да Финист с женою.

Хозяйская дочь велела позвать Марьюшку: пусть она служит за столом и на Финиста глядит, как уговор был. Марьюшка явилась, служит она за столом, кушанья подает и с Финиста глаз не сводит. А Финист сидит, словно нету ее, — не узнал он Марьюшки: истомилась она путем-дорогою, идучи к нему, и от печали по нем изменилась

в лице.

Отужинали хозяева, встал Финист и пошел спать в свою горницу.

Марьюшка и говорит тогда молодой хозяйке:

— Мух во дворе много летает. Пойду-ка я к Финисту в горницу, буду от него мух отгонять, чтоб спать не мешали.

— А пусть ее идет! — сказала старая хозяйка.

Молодая хозяйка опять здесь подумала.

— Ан нет, — говорит, — пусть обождет.

А сама пошла вслед за мужем, дала ему на ночь сонного зелья выпить и воротилась. «Может, — рассудила хозяйская дочь, — у работницы еще какая забава на такую мену есть!»

— Иди теперь, — сказала она Марьюшке. — Иди, мух от Финиста отгоняй!

Пришла Марьюшка к Финисту в горницу и позабыла про мух. Видит она: спит ее сердечный друг непробудным сном.

Смотрит на него Марьюшка — не насмотрится. Наклонилась к нему близко, одним дыханьем с ним дышит, шепчет ему:

— Проснись, мой Финист — Ясный Сокол, это я к тебе пришла; я три пары башмаков железных истоптала, три посоха чугунных о дорогу истерла, три хлеба каменных изглодала!

А Финист спит непробудно, он глаз не открывает и не молвит слова в ответ.

Приходит в горницу жена Финиста — хозяйская дочь — и спрашивает:

— Отгоняла мух?

— Отгоняла, — Марьюшка говорит, — они в окно улетели.

— Ну иди спать в людскую избу.

На другой день, как поделала Марьюшка всю хозяйскую работу, взяла она серебряное блюдечко и катает по нем золотым яичком: покатает вокруг — и новое золотое яичко скатывается с блюдечка; покатает другой раз вокруг — и опять новое золотое яичко скатывается с блюдечка. Увидела хозяйская дочь.

— Ужели, — говорит, — и такая забава есть у тебя? Продай мне ее, либо я тебе мену, какую хочешь, дам за нее.

Марьюшка говорит ей в ответ:

— Продать не могу, мне добрая бабушка это в подарок дала, и я тебе даром блюдечко с яичком отдам. На-ко, возьми!

Взяла подарок хозяйская дочь и обрадовалась:

— А может, и тебе что нужно, Марьюшка? Проси, чего хочешь.

Марьюшка и просит в ответ:

— А мне самое малое и нужно. Дозволь опять от Финиста мух отгонять, когда ты почивать его уложишь.

— Изволь, — говорит молодая хозяйка.

А сама думает: «Чего с мужем станется от поглядки чужой девицы! Да и спать он будет от зелья, глаз не откроет, а у работницы, может, еще какая забава есть!»

К ночи опять, как было, воротился Финист — Ясный Сокол из поднебесья, оборотился он в доброго молодца и сел за стол ужинать со своим семейством.

Жена Финиста позвала Марьюшку прислуживать за столом, кушанья подавать. Марьюшка кушанья подает, чашки ставит, ложки кладет, а сама глаз с Финиста не сводит. А Финист глядит и не видит ее — не узнает ее его сердце.

Опять, как было, дала хозяйская дочь своему мужу питье с сонным зельем и спать его уложила. А работницу Марьюшку послала к нему и велела ей мух отгонять.

Пришла Марьюшка к Финисту, стала звать его и плакать над ним, думала — нынче он пробудится, взглянет на нее и узнает Марьюшку. Долго звала его Марьюшка и слезы со своего лица утирала, чтоб они не упали на белое лицо Финиста и не

смочили его. А Финист спал, он не пробудился и глаз своих не открыл в ответ.

На третий день Марьюшка справила всю хозяйскую работу, села на лавку в людской избе, вынула золотое пялечко и иголочку. Держит она в руках золотое пялечко, а иголочка сама до полотну вышивает.

Вышивает Марьюшка, сама приговаривает:

— Вышивайся, вышивайся, мой красный узор, вышивайся для Финиста — Ясна Сокола, было бы ему на что любоваться!

Молодая хозяйка неподалеку ходила-была; пришла она в людскую избу, увидела в руках у Марьюшки золотое пялечко и иголочку, что сама вышивает. Зашлось у нее сердце завистью и алчностью, и говорит она:

— Ой, Марьюшка, душенька, красная девица. Подари мне такую забаву, либо что хочешь в обмен возьми! Золотое веретенце есть у меня, пряжи я напряду, холстины натку, а золотого пялечка с иголочкой у меня нету — вышивать нечем. Если в обмен не хочешь отдавать, тогда продай! Я цену тебе дам!

— Нельзя! — говорит Марьюшка. — Нельзя золотое пялечко с иголочкой ни продавать, ни в обмен давать. Их мне самая добрая, самая старая

бабушка даром дала. И я тебе их даром отдам.

Взяла молодая хозяйка пялечко с иголочкой, а Марьюшке ей дать нечего, она и говорит:

— Приходи, коли хочешь, от мужа моего, Финиста, мух отгонять. Прежде ты сама просилась.

— Приду уж, так и быть, — сказала Марьюшка.

После ужина молодая хозяйка сначала не хотела давать Финисту сонного зелья, а потом раздумалась и добавила того зелья в питье: «Чего ему глядеть на девицу, пусть спит!»

Пошла Марьюшка в горницу к спящему Финисту. Уже не стерпело теперь ее сердце. Припала она к его белой груди и причитает:

— Проснись-пробудись, Финист мой, Ясный мой Сокол! Я всю землю пешей прошла, к тебе идучи! Три посоха чугунных уморились со мной ходить и о землю истерлись, три пары башмаков железных ноги мои износили, три хлеба каменных я изглодала. Встань-проснись, Финист мой, Сокол! Сжалься ты надо мной!

А Финист спит, ничего не чует, и не слышит он голоса Марьюшки.

Долго Марьюшка будила Финиста, долго плакала над ним, а не проснулся Финист — крепко было зелье жены. Да упала одна горячая слеза Марьюшки на грудь Финиста, а другая слеза упала

на его лицо. Одна слеза обожгла сердце Финиста, а другая открыла ему глаза, и он в ту же минуту проснулся.

— Ах, — говорит, — что меня обожгло?

— Финист мой, Ясный Сокол! — отвечает ему Марьюшка. — Пробудись ко мне, это я пришла! Долго-долго я искала тебя, железо и чугун я о землю истерла. Не стерпели они дороги к тебе, а я стерпела! Третью ночь я зову тебя, а ты спишь, ты не пробуждаешься, ты на голос мой не отвечаешь!

И тут узнал Финист — Ясный Сокол свою Марьюшку, красную девицу. И так он обрадовался ей, что от радости сперва слова молвить не мог! Прижал он Марьюшку к груди своей белой и поцеловал.

А очнувшись, привыкши, что Марьюшка с ним, он сказал ей:

— Будь ты моей сизой голубкой, моя верная красная девица!

И в ту же минуту обратился он в сокола, а Марьюшка — в голубку.

Улетели они в ночное поднебесье и всю ночь летели рядом, до самого рассвета.

А когда они летели, Марьюшка спросила:

— Сокол, сокол, а куда ты летишь, ведь жена

твоя соскучится!

Финист-сокол послушал ее и ответил:

— Я к тебе лечу, красная девица. А кто мужа меняет на веретенце, на блюдечко да на иголку, той жене мужа не надо и та жена не соскучится.

— А чего же ты женился на такой жене? — спросила Марьюшка. — Воли твоей не было?

— Воля моя была, да судьбы и любви не было.

И они полетели далее рядом друг с другом.

А на рассвете опустились они на землю. Поглядела Марьюшка вокруг; видит она — дом ее родителя стоит, как прежде был. Захотела Марьюшка увидеть отца-родителя, и тут же обратилась она в красную девицу. А Финист — Ясный Сокол ударился о сыру землю и сделался перышком.

Взяла Марьюшка перышко, спрятала его к себе на грудь, за пазуху, и пришла к отцу.

— Здравствуй, дочь моя меньшая, любимая. Я думал, что тебя и на свете нету. Спасибо, что отца не забыла, домой воротилась. Где была так долго, чего домой не спешила?

— Прости меня, батюшка. Так нужно мне было.

— Что ж, нужно так нужно. Спасибо, что нужда прошла.

А случилось это на праздник, и в городе боль-

шая ярмарка открылась. Собрался наутро отец на ярмарку ехать, и старшие дочери с ним едут — подарки себе покупать.

Отец и меньшую позвал, Марьюшку.

А Марьюшка:

— Батюшка, — говорит, — я с дороги притомилась, и надеть мне на себя нечего. На ярмарке, чай, все нарядные будут.

— Я там тебя, Марьюшка, обряжу, — отвечает отец. — На ярмарке, чай, торг большой.

А старшие сестры говорят младшей:

— Надень наши уборы, у нас лишние есть.

— Ах, сестрицы, спасибо вам! — говорит Марьюшка. — Мне ваши платья не по кости! Да мне и дома хорошо.

— Ну, быть по-твоему, — говорит ей отец. — А что тебе с ярмарки привезти, какой подарок? Скажи, отца не обижай!

— Ах, батюшка, ничего мне не надобно, все у меня есть! Недаром я далеко ходила и в дороге утомилась.

Отец со старшими сестрами уехал на ярмарку. В ту же пору Марьюшка вынула свое перышко. Оно ударилось о́б пол и сделалось прекрасным добрым молодцем, Финистом, только еще прекраснее, чем он был прежде. Марьюшка уди-

вилась да от счастья своего ничего не сказала. Тогда сказал ей Финист:

— Не дивись на меня, Марьюшка, это я от твоей любви таким стал.

— Я хоть и дивлюсь, — сказала Марьюшка, — да для меня ты всегда одинаков, я тебя всякого люблю.

— А где родитель твой батюшка?

— На ярмарку уехал, и сестры с ним старшие.

— А ты чего, Марьюшка моя, не поехала с ними?

— У меня Финист есть, Ясный Сокол. Мне ничего на ярмарке не надо.

— И мне ничего не надо, — сказал Финист, — да я от твоей любви богатым стал.

Обернулся Финист от Марьюшки, свистнул в окошко — сейчас явились платья, уборы и карета золотая. Нарядились они, сели в карету, кони помчали их вихрем.

Приехали они в город на ярмарку, а ярмарка только открылась, все богатые товары и яства горою лежат, а покупатели едут в дороге.

Финист купил на ярмарке все товары, все яства, что были там, велел их обозами везти в деревню к родителю Марьюшки. Одну только мазь колесную он не купил, а оставил ее на ярмарке.

Он хотел, чтобы все крестьяне, какие приедут на ярмарку, стали гостями на его свадьбе и скорее ехали к нему. А для скорой езды им мазь нужна будет.

Поехали Финист с Марьюшкой домой. Едут они быстро, лошадям воздуха от ветра не хватает. На половине дороги увидела Марьюшка своего батюшку и старших сестер. Они еще на ярмарку ехали и не доехали. Марьюшка велела им ворочаться ко двору, на свадьбу ее с Финистом — Ясным Соколом.

А через три дня собрался в гости весь народ, что жил на сто верст в округе; обвенчался тогда Финист с Марьюшкой, и свадьба была богатая.

На той свадьбе дедушки наши и бабушки были, долго они пировали, жениха и невесту величали, с лета до зимы не разошлись бы, да настала пора убирать урожай, хлеб осыпáться начал; оттого и свадьба кончилась и на пиру гостей не осталось.

Свадьба кончилась, и свадебный пир гости позабыли, а верное любящее сердце Марьюшки навсегда запомнилось в русской земле.

1947

Солдат и царица

Жила-была в старину сердитая царица. Все ей было не по нраву. И это не так, и это не по ней, на всех она в обиде. С утра до вечера пороли, драли, лупили и повинных, и неповинных — всех, кто царице не угодил, а угодить ей никто не мог. Так уж и в обычай вошло. Особливо доставалось тем, кто царице был близок. Сенные, дворцовые ее девушки, слуги коридорные, белые и черные мужики, кучера и портнихи каждое утро от вчерашних розог и палок чесались, а к нынешним готовились.

Вот гуляет однажды царица по саду, а солдат возле будки на часах стоит. Увидел солдат царицу — никогда ее не видел. «Ишь ты!» — подумал и ухмыльнулся. Не знал солдат — внове стоял при дворце, — что пред царицей ни ухмыльнуться нельзя, ни нахмуриться, ни умильным быть: все одно царица нравом кипела. Глянула царица на солдата:

— Ты чего ухмыляешься?

А простой солдат чего скажет царице? Ничего он сказать не мог и невзначай или так, спроста, что ль, опять ухмыльнулся. Тут царица сперва и

слова сказать не могла от злости. Потом кликнула кого надо.

— Давать, — приказывает, — этому солдату по двадцать палок каждый день с утра.

С тех пор с утра, как встанет, получает солдат двадцать палок.

Били-били солдата, целый год били. Как проснется — так двадцать палок, хоть в будни, хоть в праздники. Измучился, исхудал солдат, бить его не во что стало. А царица и забыла про него: пусть бьют до смерти; она теперь на других серчает.

Что тут делать солдату? Не миновать ему смерти от палок, забьют его. Солдат у того, у другого спрашивает — выбирает, кто поумней считается. А умные ему в один ответ:

— Терпи, — говорят. — Чего с царицей сделаешь, она сердитая.

Солдат выслушал умных, а сам подумал: «Эх, не вам терпеть, а мне!» — и пошел к дураку.

При войске у них дурак жил, его солдаты с кухни кормили и выношенную одежду давали ему донашивать.

Солдат сказал дураку, как ему живется, а дурак и сам уж знал.

— Эх, да не поможешь ты мне! — сказал сол-

дат. — Ты ведь дурак.

А дурак захохотал:

— Как так не помогу! А не помогу, так и зла не сделаю, ты при своем останешься. Дай мне копейку!

Дал ему солдат копейку. Повел дурак солдата на край города. Шли они, шли, далеко ушли; кругом их бедные домишки стоят, дворцов давно нету.

«Эх, — думает солдат, — далече мы зашли, пропала моя копейка!»

Пришли они в бедный домишко. Жил там сапожник с женой. У сапожника была жена, сходственная с царицей, как родная сестра: поставь ее рядом с царицей, их и отличить нельзя, которая царица, которая сапожница.

За показ жены сапожник брал по копейке с человека — с купца там, с мастерового, с приказчика, а солдатам и калекам показывал даром. А деньги пропивал.

Заплатил дурак копейку сапожнику, а солдат, конечно, даром прошел. Вошли они в комнату и видят — на кровати женщина лежит и спит. Солдат дрогнул и во фрунт стал: вылитая была перед ним царица.

Дурак и говорит:

— Вот была бы она царицей, она бы тебя палкой

не била.

Солдат согласен с дураком:

— Не била бы. Жалко, что она сапожница: из нее бы царица хорошая вышла.

Дурак засмеялся:

— А выйдет, — говорит, — из нее царица!

Солдат обнадежился:

— А как выйдет-то?

Дурак захохотал в ответ, а солдат увел его прочь, а то сапожница проснется.

Идут они обратно.

Дурак спрашивает у солдата:

— Ты где ночью на карауле стоишь?

— Нынче во дворце, в покоях, буду стоять.

— Вот чего, — дурак ему, — я тебе ночью сапожницу приволоку.

— Это к чему же? А сапожник услышит!

— Нету, — дурак отвечает. — Сапожник ничего не услышит. Он днем наработается, потом вина напьется и спит крепко: на нем кривые гвозди выпрямляй — он не чует.

— А к чему мне сапожница?

— Эк ты какой! А говорят — я дурак! Царица-то заснет, ты мне и давай ее сонную, а я тебе на руки — сонную сапожницу. Царицу я унесу к сапожнику, а ты сапожницу в царские покои отнеси,

покуда она не проснулась.

Солдат подумал.

— А не страховито ли будет? При царице и моргнуть нельзя, а ты ее к сапожнику унесешь? А вдруг проснется, дознается, да она нам голову прочь!

А дурак думает иное:

— Царица целый день злится, с утра до вечера умается, а ночью спит-храпит, пузыри изо рта пускает. До своего времени она не проснется. А если дознается, так я в дураках хожу — какой с меня спрос!

Солдат согласился:

— Ишь ты, обдумал как! А сам дурак! Так ладно будет, пожалуй. Тащи уж по темноте сапожницу во дворец.

За ночь дурак так и сделал: сапожницу в царские покои принес, а царицу отнес к сапожнику — они и не проснулись.

А как наступило утро, проснулся первым сапожник и толкнул жену в бок.

Ему и воды испить захотелось, и курить надо, и голова у него болит: пусть жена ему воды подаст, трубку найдет и в утешенье что-нибудь скажет.

Царица проснулась, открыла глаза, не поняла ничего и опять заснула.

Сапожник ее опять в бок: ты что, дескать, иль не слышишь?

— Подымайся, баба! — сапожник говорит. — Пора.

Царица опять открыла глаза.

— Чего пора? — спрашивает. — Ты кто такой?

А сапожник ей:

— А ты кто такая?

Царица как закричит:

— Ах ты негодный! Ах ты окаянный! Да ведь я царица!

Сапожник как соскочит с кровати:

— Ах, так ты царица!

Схватил сапожничий ремень, шпандырь, и давай царицу пороть-охаживать:

— Ах, так ты царица? Так тебе и надо, царице! Ишь ты, лодырь, ишь ты, негодница! Только спать здорова. Я тебе дам — царица! Я тебе дам — как мужу своему не угождать!

Царица как крикнет:

— Эй, кто там! Забить этого негодяя насмерть!

А никто не идет — нету никого. Царица и думает: «Что такое? Видно, я померла и в ад попала — так это, верно, черт».

Подумала так и опять заснула: может, опять-де проснусь во дворце, в своем царстве, и ничего

этого не будет; это мне снится.

Ан нет, черт-сапожник ремень положил да опять кулаком ее в бок:

— Баба, чего не встаешь?

— Отвяжись от меня, я царица!

— Как так — ты опять царица? — говорит сапожник — и сызнова царицу хлоп да хлоп — злой был человек. — Подымайся, тебе говорят! Картошку вари, самовар ставь, комнату убирай, портки мне заштопай. Ишь ты, притворщица!

Оробела царица — опять ее этот черт бить да хлопать будет. А больно ей ведь — ей больнее всех: до того она боли-то и не знала. Поднялась она, приоделась в платье сапожницы и стала работать по дому. Однако за что ни возьмется, ничего у нее не выходит, из рук все валится. Оно так и быть должно: царица-то серчать да царствовать привыкла, только всего.

Сапожник видит — дело у нее не идет, и опять хлоп да хлоп ее.

Царица уж молчит и не говорит, что она царица, а сама работать старается.

Вот сготовила она кое-как обед, а его и есть нельзя: недоварено, пересолено, нечисто.

Съел сапожник одну ложку щей и говорит:

— Ты и правда, до́лжно, царица: ничего делать

не умеешь. Таких щей и псы не едят.

И снова за свое: хлоп ее — за плохие, значит, щи.

Царица совсем оробела. Сидит она перед сапожником и трясется от страха.

После обеда сапожник лег в кровать:

— Возьми гребень, жена, расчеши мне голову, а я дремать буду.

Стала царица голову сапожнику чесать; что ж делать-то, ослушаться нельзя.

А на другой день велел ей сапожник белье стирать.

Стирает белье царица; сроду она не стирала, все белые руки свои стерла, исстирала, а белье не выбелила.

Так и жила царица у сапожника — жила да мучилась; три дня жила.

А сапожница как проснулась в царицыной постели, огляделась кругом, видит — приятно везде. На кровати перины, одеванья шелковые и ковровые, зеркала светятся, горница вся прибрана, и цветами пахнет.

«Аль я в раю? — подумала сапожница. — Век того не видала, что вижу».

Тут вошли в спальную горницу четыре горничные девушки. Вошли они, а подойти к царице

боятся.

— Вам чего надо? — спрашивает их сапожница.

Девушки ей отвечают:

— Здравствуй, матушка царица! А мы тебя одевать, обувать пришли.

Сапожница им:

— А я сама оденусь. Иль я калека!

А девушки стоят, не уходят.

Сапожница глядит на них:

— Чего ж вы стоите? Неужели дела у вас нету, бездельницы!

А девушки глядят на табуретку у кровати, а на табуретке палка лежит и плетка.

— А бить-то нас будешь когда, матушка? — спросили девушки. — Теперь иль после?

— Да за что ж вас бить? Вам больно будет!

— А за то, матушка царица, что вам серчать надо!

Тут и сапожница рассерчала:

— Дуры вы, что ли? Идите прочь, да делом займитесь!

Девушки ушли. А сапожница поднялась, оделась, пошла на кухню и там чаю с бубликами напилась. На кухне повара и кухарки обращаются к сапожнице со страхом и почтением, сахару

подают сколько хочешь, каждый думает, что она царица.

«Чего это, — думает, — царица я, что ль? Знать, и правда царица. Ну что ж, и царицей теперь побуду, сапожницей-то успею. Пусть мужик мой по мне поскучает! Царицей-то оно и легче быть».

Вот живет она царицей и день, и два. С утра до вечера позади царицы вельможа ходит, все ее приказы и желанья пишет и исполняет. Царица уж привыкла к тому вельможе: кто ни обратится к ней с просьбой или с чем, она только укажет:

— Скажи заднему, он исполнит, — и далее идет.

Идет она и семечки грызет, а семечки для нее вельможа в горсти держит и руку наотлет вытянул.

В тот час наш солдат у деревянной будки стоял. Видит он — идет, гуляет сапожница-царица. А солдата по-прежнему палками бьют, и нынче били с утра.

Глянул солдат на сапожницу-царицу, хотел суровое выраженье на лице сделать — и ухмыльнулся.

Сапожница-царица и обращается к нему:

— Ты чего ухмыляешься? Мне, что ль, обрадовался?

Солдат ей в ответ:

— Тебе, матушка!

— А чего радуешься? Я тебе добра не сделала. Чего ты хочешь?

— А того хочу, матушка, пусть меня палками не бьют. Второй год с утра спозаранку колотят, мясо с костей стерли.

— За что ж тебя?

— За ухмылку, матушка.

— Ну, скажи заднему, пусть тебя не бьют.

— Нет уж, матушка, — солдат сапожнице-царице говорит, — заднему я говорить не буду: ты передняя, ты сама упомни и прикажи.

Царица остановилась около солдата:

— Ишь ты, какой въедливый! Ладно уж, я сама прикажу и бумагу напишу — не будут тебя бить.

— И других прочих, матушка, пусть не бьют!

— Аль многих тут бьют?

— Да почитай что почти всех, матушка, колотят. Истерлись люди при дворце, а все терпят.

— Дураки они, что ль? — спрашивает сапожница-царица.

— Не могу знать, матушка!

В тот же день сапожница-царица дала повеление, чтоб никого в ее царстве не били и не смели даже касаться палкой человека. А солдатам веле-

ла дать по двадцать пять рублей каждому, а сверх того по три дня гулянья и по полведра пива.

На третий день своего царствования сапожница соскучилась по сапожнику. «Пойду, — думает, — погляжу издали, как он там. Небось горюет по мне».

Собралась царица и пошла из дворца к домишку сапожника, а за ней и вельможа идет.

Вот идет она, царица, видит свой бедный домишко.

А из ворот того домишка как раз ее сапожник выходит, и не один, как следовало бы, а с другою дородною женщиной, что не хуже самой сапожницы, и на лице у сапожника горя нету.

Тут как вскрикнет сапожница-царица:

— Ах ты бессовестный, ах ты такой-сякой! — да хвать сапожника по затылку, с того и картуз соскочил.

А сапожник никак не опомнится: глядит он и на ту женщину, и на эту, обе они на вид одинаковые, а которая жена — не разберет. Только когда сапожница по спине его еще разок хлопнула, сапожник понял, которая его жена.

Взяла сапожница мужа за руку и повела домой, а про царство свое забыла.

А царица скрипнула зубами на вельможу и

тоже домой пошла, во дворец.

Как явилась она во дворец и узнала, что бить теперь, драть, пороть и лупить никого нельзя, отмена вышла, и будто сама она так повелела, — закипело злобой сердце царицы.

Позвала она кого ни на есть, — чтоб ударить кого было, — явилась кухарка, подняла на нее царица руку, да видит вдруг: рука-то ее, царицина, исстирана, работой истерта, и опустила она свою руку, никого не ударила.

Вспомнила она, как жила у сапожника: как бы опять ей в жены к нему не попасть, и оставила царица волю сапожницы как есть.

И солдат с дураком довольны остались. А только этой царице веры нет и не будет.

1949

Неизвестный цветок

Сказка-быль

Жил на свете маленький цветок. Никто и не знал, что он есть на земле. Он рос один на пустыре; коровы и козы не ходили туда, и дети из пионерского лагеря там никогда не играли. На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни, и меж ними была сухая мертвая глина. Лишь один ветер гулял по пустырю; как дедушка-сеятель, ветер носил семена и сеял их всюду — и в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь. В черной доброй земле из семян рождались цветы и травы, а в камне и глине семена умирали.

А однажды упало из ветра одно семечко, и приютилось оно в ямке меж камнем и глиной. Долго томилось это семечко, а потом напиталось росой, распалось, выпустило из себя тонкие волоски корешка, впилось ими в камень и в глину и стало расти.

Так начал жить на свете тот маленький цветок. Нечем было ему питаться в камне и в глине; капли дождя, упавшие с неба, сходили по верху

земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и жил и рос помаленьку выше. Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал возле цветка; из ветра упадали на глину пылинки, что принес ветер с черной тучной земли; и в тех пылинках находилась пища цветку, но пылинки были сухие. Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. А когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз; она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мертвую глину.

Днем цветок сторожил ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. Однако трудно было цветку питаться из одних пылинок, что выпали из ветра, и еще собирать для них росу. Но он нуждался в жизни и превозмогал терпеньем свою боль от голода и усталости. Лишь один раз в сутки цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его утомленных листьев.

Если же ветер подолгу не приходил на пустырь, плохо тогда становилось маленькому цветку, и уже не хватало у него силы жить и расти.

Цветок, однако, не хотел жить печально; поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он дремал. Все же он постоянно старался расти, если даже корни его глодали голый камень и сухую глину. В такое время листья его не могли напитаться полной силой и стать зелеными: одна жилка у них была синяя, другая красная, третья голубая или золотого цвета. Это случалось оттого, что цветку недоставало еды, и мученье его обозначалось в листьях разными цветами. Сам цветок, однако, этого не знал: он ведь был слепой и не видел себя, какой он есть.

В середине лета цветок распустил венчик вверху. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И, как звезда, он светился живым мерцающим огнем, и его видно было даже в темную ночь. А когда ветер приходил на пустырь, он всегда касался цветка и уносил его запах с собою.

И вот шла однажды поутру девочка Даша мимо того пустыря. Она жила с подругами в пионерском лагере, а нынче утром проснулась и заскучала по матери. Она написала матери письмо и понесла письмо на станцию, чтобы оно

скорее дошло. По дороге Даша целовала конверт с письмом и завидовала ему, что он увидит мать скорее, чем она.

На краю пустыря Даша почувствовала благоухание. Она поглядела вокруг. Вблизи никаких цветов не было, по тропинке росла одна маленькая травка, а пустырь был вовсе голый; но ветер шел с пустыря и приносил оттуда тихий запах, как зовущий голос маленькой неизвестной жизни. Даша вспомнила одну сказку, ее давно рассказывала ей мать. Мать говорила о цветке, который все грустил по своей матери — розе, но плакать он не мог, и только в благоухании проходила его грусть.

«Может, это цветок скучает там по своей матери, как я», — подумала Даша.

Она пошла в пустырь и увидела около камня тот маленький цветок. Даша никогда еще не видела такого цветка — ни в поле, ни в лесу, ни в книге на картинке, ни в ботаническом саду, нигде. Она села на землю возле цветка и спросила его:

— Отчего ты такой?

— Не знаю, — ответил цветок.

— А отчего ты на других непохожий?

Цветок опять не знал, что сказать. Но он впервые так близко слышал голос человека, впервые

кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием.

— Оттого, что мне трудно, — ответил цветок.

— А как тебя зовут? — спросила Даша.

— Меня никто не зовет, — сказал маленький цветок, — я один живу.

Даша осмотрелась в пустыре.

— Тут камень, тут глина! — сказала она. — Как же ты один живешь, как же ты из глины вырос и не умер, маленький такой?

— Не знаю, — ответил цветок.

Даша склонилась к нему и поцеловала его в светящуюся головку.

На другой день в гости к маленькому цветку пришли все пионеры. Даша привела их, но еще задолго, не доходя до пустыря, она велела всем вздохнуть и сказала:

— Слышите, как хорошо пахнет. Это он так дышит.

Пионеры долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как героем. Потом они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек с навозом и золою, чтобы удобрить мертвую глину.

Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок, неизвестный

по имени, отдохнет, а из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нету нигде.

Четыре дня работали пионеры, удобряя землю на пустыре. А после того они ходили путешествовать в другие поля и леса и больше на пустырь не приходили. Только Даша пришла однажды, чтобы проститься с маленьким цветком. Лето уже кончалось, пионерам нужно было уезжать домой, и они уехали.

А на другое лето Даша опять приехала в тот же пионерский лагерь. Всю долгую зиму она помнила о маленьком, неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь, чтобы проведать его.

Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами, и над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание, такое же, как от того маленького цветка-труженика.

Однако прошлогоднего цветка, жившего меж камнем и глиной, уже не было. Должно быть, он умер в минувшую осень. Новые цветы были тоже хорошие; они были только немного хуже, чем тот первый цветок. И Даше стало грустно, что нету прежнего цветка. Она пошла обратно и вдруг

остановилась. Меж двумя тесными камнями вырос новый цветок — такой же точно, как тот старый цвет, только немного лучше его и еще прекраснее. Цветок этот рос из середины стеснившихся камней; он был живой и терпеливый, как его отец, и еще сильнее отца, потому что он жил в камне.

Даше показалось, что цветок тянется к ней, что он зовет ее к себе безмолвным голосом своего благоухания.

1950

Рассказы

Юшка

Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы.

Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за свое жалованье — семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал,

он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой, зимою же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару.

Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться — вон и Юшка уж спать пошел.

А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали:

— Вон Юшка идет! Вон Юшка!

Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку.

— Юшка! — кричали дети. — Ты правда Юшка?

Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же тихо, как прежде, и не за-

крывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор.

Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика:

— Юшка, ты правда или нет?

Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали — вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой.

Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли — пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вкруг него, чтоб он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им.

Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им:

— Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землей попали, я не вижу.

Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает.

Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его.

Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: «Вот ты будешь такой же, как Юшка! Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!»

Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или

ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему:

— Да что ты такой блажной, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?

Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ.

— Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно!

И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе.

Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой.

— Лучше бы ты умер, Юшка, — говорила хозяйская дочь. — Зачем ты живешь?

Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить.

— Это отец-мать меня родили, их воля была, — отвечал Юшка, — мне нельзя помирать, и я отцу

твоему в кузне помогаю.

— Другой бы на твое место нашелся, помощник какой!

— Меня, Даша, народ любит!

Даша смеялась.

— У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь — народ тебя любит!..

— Он меня без понятия любит, — говорил Юшка. — Сердце в людях бывает слепое.

— Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! — произносила Даша. — Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету.

— По расчету они на меня серчают, это правда, — соглашался Юшка. — Они мне улицей ходить не велят и тело калечат.

— Эх ты, Юшка, Юшка! — вздыхала Даша. — А ты ведь, отец говорил, нестарый еще!

— Какой я старый!.. Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал…

По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились.

Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он гово-

рил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самое Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец.

В июне или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работящие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой

и солнечным светом.

По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим.

И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, — об этом никому в городе не было известно.

Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его.

Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому.

Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная

болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним:

— Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться…

И здесь Юшка осерчал в ответ — должно быть, первый раз в жизни.

— А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя…

Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него:

— Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный!

— Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны…

— Ты мне не мудруй! — закричал прохожий. — Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму!

Замахнувшись, прохожий с силой злобы толк-

нул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.

— Отдохни, — сказал прохожий и ушел домой пить чай.

Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся.

Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен; столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки.

— Помер, — вздохнул столяр. — Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!..

Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни.

Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и

тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство.

Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича?

— Какого Ефима Дмитриевича? — удивился кузнец. — У нас такого сроду тут и не было.

Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался:

— Уж не Юшка ли он? Так и есть — по паспорту он писался Дмитричем…

— Юшка, — прошептала девушка. — Это правда. Сам себя он называл Юшкой.

Кузнец помолчал.

— А вы кто ему будете? Родственница, что ль?

— Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве,

потом отдал в школу с пансионом… Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он, — он говорил, что работал у вас двадцать пять лет…

— Половина полвека прошло, состарились вместе, — сказал кузнец.

Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его.

Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца…

С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.

1935

Корова

Серая степная корова черкасской породы жила одна в сарае. Этот сарай, сделанный из выкрашенных снаружи досок, стоял на маленьком дворе путевого железнодорожного сторожа. В сарае, рядом с дровами, сеном, просяной соломой и отжившими свой век домашними вещами — сундуком без крышки, прогоревшей самоварной трубой, одежной ветошью, стулом без ножек, — было место для ночлега коровы и для ее жизни в долгие зимы.

Днем и вечером к ней в гости приходил мальчик Вася Рубцов, сын хозяина, и гладил ее по шерсти около головы. Сегодня он тоже пришел.

— Корова, корова, — говорил он, потому что у коровы не было своего имени, и он называл ее, как было написано в книге для чтения. — Ты ведь корова!.. Ты не скучай, твой сын выздоровеет, его нынче отец назад приведет.

У коровы был теленок — бычок; он вчерашний день подавился чем-то, и у него стала идти изо рта слюна и желчь. Отец побоялся, что теленок падет, и повел его сегодня на станцию — показать ветеринару.

Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку. Она всегда узнавала мальчика, он любил ее. Ему нравилось в корове все, что в ней было, — добрые теплые глаза, обведенные темными кругами, словно корова была постоянно утомлена или задумчива, рога, лоб и ее большое худое тело, которое было таким потому, что свою силу корова не собирала для себя в жир и в мясо, а отдавала ее в молоко и в работу. Мальчик поглядел еще на нежное, покойное вымя с маленькими осохшими сосками, откуда он кормился молоком, и потрогал крепкий короткий подгрудок и выступы сильных костей спереди.

Посмотрев немного на мальчика, корова нагнула голову и взяла из корыта нежадным ртом несколько былинок. Ей было некогда долго глядеть в сторону или отдыхать, она должна жевать беспрерывно, потому что молоко в ней рожалось тоже беспрерывно, а пища была худой, однообразной, и корове нужно с нею долго трудиться, чтобы напитаться.

Вася ушел из сарая. На дворе стояла осень. Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные, пустые поля, отрожавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, заглохшие

и скучные.

Сейчас начинались вечерние сумерки; небо, покрытое серой прохладной наволочью, уже смежалось тьмою; ветер, что весь день шевелил остья скошенных хлебов и голые кусты, омертвевшие на зиму, теперь сам улегся в тихих, низких местах земли и лишь еле-еле поскрипывал флюгаркой на печной трубе, начиная песнь осени.

Одноколейная линия железной дороги пролегла невдалеке от дома, возле палисадника, в котором в эту пору уже все посохло и поникло — и трава и цветы. Вася остерегался заходить в огорожу палисадника: он ему казался теперь кладбищем растений, которые он посадил и вывел на жизнь весной.

Мать зажгла лампу в доме и выставила сигнальный фонарь наружу, на скамейку.

— Скоро четыреста шестой пойдет, — сказала она сыну, — ты его проводи. Отца-то что-то не видать… Уж не загулял ли?

Отец ушел с теленком на станцию, за семь километров, еще с утра; он, наверно, сдал ветеринару теленка, а сам на станционном собрании сидит, либо пиво в буфете пьет, либо на консультацию по техминимуму пошел. А может быть, очередь на ветпункте большая и отец ожидает. Вася взял

фонарь и сел на деревянную перекладину у переезда. Поезда еще не было слышно, и мальчик огорчился; ему некогда было сидеть тут и провожать поезда: ему пора было готовить уроки к завтрашнему дню и ложиться спать, а то утром надо рано подниматься. Он ходил в колхозную семилетку за пять километров от дома и учился там в четвертом классе.

Вася любил ходить в школу, потому что, слушая учительницу и читая книги, он воображал в своем уме весь мир, которого он еще не знал, который был вдали от него. Нил, Египет, Испания и Дальний Восток, великие реки — Миссисипи, Енисей, Тихий Дон и Амазонка, Аральское море, Москва, гора Арарат, остров Уединения в Ледовитом океане — все это волновало Васю и влекло к себе. Ему казалось, что все страны и люди давно ожидают, когда он вырастет и придет к ним. Но он еще нигде не успел побывать: родился он здесь же, где жил и сейчас, а был только в колхозе, в котором находилась школа, и на станции. Поэтому с тревогой и радостью он всматривался в лица людей, глядящих из окон пассажирских поездов, — кто они такие и что они думают, — но поезда шли быстро, и люди проезжали в них не узнанными мальчиком на переезде. Кроме того,

поездов было мало, всего две пары в сутки, а из них три поезда проходили ночью.

Однажды, благодаря тихому ходу поезда, Вася явственно разглядел лицо молодого задумчивого человека. Он смотрел через открытое окно в степь, в незнакомое для него место на горизонте и курил трубку. Увидев мальчика, стоявшего на переезде с поднятым зеленым флажком, он улыбнулся ему и ясно сказал: «До свиданья, человек!» — и еще помахал на память рукою. «До свиданья, — ответил ему Вася про себя, — вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!» И затем долгое время мальчик вспоминал этого задумчивого человека, уехавшего в вагоне неизвестно куда; он, наверное, был парашютист, артист, или орденоносец, или еще лучше, так думал про него Вася. Но вскоре память о человеке, миновавшем однажды их дом, забылась в сердце мальчика, потому что ему надо было жить дальше и думать и чувствовать другое.

Далеко — в пустой ночи осенних полей — пропел паровоз. Вася вышел поближе к линии и высоко над головой поднял светлый сигнал свободного прохода. Он слушал еще некоторое время растущий гул бегущего поезда и затем обернулся

к своему дому. На их дворе жалобно замычала корова. Она все время ждала своего сына — теленка, а он не приходил. «Где же это отец так долго шатается! — с недовольством подумал Вася. — Наша корова ведь уже плачет! Ночь, темно, а отца все нет».

Паровоз достиг переезда и, тяжко проворачивая колеса, дыша всею силой своего огня во тьму, миновал одинокого человека с фонарем в руке. Механик и не посмотрел на мальчика, — далеко высунувшись из окна, он следил за машиной: пар пробил набивку в сальнике поршневого штока и при каждом ходе поршня вырывался наружу. Вася это тоже заметил. Скоро будет затяжной подъем, и машине с неплотностью в цилиндре тяжело будет вытягивать состав. Мальчик знал, отчего работает паровая машина, он прочитал про нее в учебнике по физике, а если бы там не было про нее написано, он все равно бы узнал о ней, что она такое. Его мучило, если он видел какой-либо предмет или вещество и не понимал, отчего они живут внутри себя и действуют. Поэтому он не обиделся на машиниста, когда тот проехал мимо и не поглядел на его фонарь; у машиниста была забота о машине, паровоз может стать ночью на долгом подъеме, и тогда ему труд-

но будет стронуть поезд вперед; при остановке вагоны отойдут немного назад, состав станет врастяжку, и его можно разорвать, если сильно взять с места, а слабо его вовсе не сдвинешь.

Мимо Васи пошли тяжелые четырехосные вагоны; их рессорные пружины были сжаты, и мальчик понимал, что в вагонах лежит тяжелый дорогой груз. Затем поехали открытые платформы: на них стояли автомобили, неизвестные машины, покрытые брезентом, был насыпан уголь, горой лежали кочаны капусты, после капусты были новые рельсы и опять начались закрытые вагоны, в которых везли живность. Вася светил фонарем на колеса и буксы вагонов — не было ли там чего неладного, но там было все благополучно. Из одного вагона с живностью закричала чужая безвестная телушка, и тогда из сарая ей ответила протяжным, плачущим голосом корова, тоскующая о своем сыне.

Последние вагоны прошли мимо Васи совсем тихо. Слышно было, как паровоз в голове поезда бился в тяжелой работе, колеса его буксовали и состав не натягивался. Вася направился с фонарем к паровозу, потому что машине было трудно, и он хотел побыть около нее, словно этим он мог разделить ее участь.

Паровоз работал с таким напряжением, что из трубы его вылетали кусочки угля и слышалась гулкая дышащая внутренность котла. Колеса машины медленно проворачивались, и механик следил за ними из окна будки. Впереди паровоза шел по пути помощник машиниста. Он брал лопатой песок из балластного слоя и сыпал его на рельсы, чтобы машина не буксовала. Свет передних паровозных фонарей освещал черного, измазанного в мазуте, утомленного человека. Вася поставил свой фонарь на землю и вышел на балласт к работающему с лопатой помощнику машиниста.

— Дай, я буду, — сказал Вася. — А ты ступай помогай паровозу. А то вот-вот он остановится.

— А сумеешь? — спросил помощник, глядя на мальчика большими светлыми глазами из своего глубокого темного лица. — Ну попробуй! Только осторожней, оглядывайся на машину!

Лопата была велика и тяжела для Васи. Он отдал ее обратно помощнику.

— Я буду руками, так легче.

Вася нагнулся, нагреб песку в горсти и быстро насыпал его полосой на головку рельса.

— Посыпай на оба рельса, — указал ему помощник и побежал на паровоз.

Вася стал сыпать по очереди, то на один рельс, то на другой. Паровоз тяжело, медленно шел вслед за мальчиком, растирая песок стальными колесами. Угольная гарь и влага из охлажденного пара падали сверху на Васю, но ему было интересно работать, он чувствовал себя важнее паровоза, потому что сам паровоз шел за ним и лишь благодаря ему не буксовал и не останавливался.

Если Вася забывался в усердии работы и паровоз к нему приближался почти вплотную, то машинист давал короткий гудок и кричал с машины: «Эй, оглядывайся!.. Сыпь погуще, поровней!»

Вася берегся машины и молча работал. Но потом он рассерчал, что на него кричат и приказывают; он сбежал с пути и сам закричал машинисту:

— А вы чего без песка поехали? Иль не знаете!..

— Он у нас весь вышел, — ответил машинист. — У нас посуда для него мала.

— Добавочную поставьте, — указал Вася, шагая рядом с паровозом. — Из старого железа можно согнуть и сделать. Вы кровельщику закажите.

Машинист поглядел на этого мальчика, но во тьме не увидел его хорошо. Вася был одет исправно и обут в башмаки, лицо имел небольшое и глаз

не сводил с машины. У машиниста у самого дома такой же мальчишка рос.

— И пар у вас идет, где не нужно; из цилиндра, из котла дует сбоку, — говорил Вася. — Только зря сила в дырки пропадает.

— Ишь ты! — сказал машинист. — А ты садись веди состав, а я рядом пойду.

— Давай! — обрадованно согласился Вася.

Паровоз враз, во всю полную скорость, завертел колесами на месте, точно узник, бросившийся бежать на свободу, даже рельсы под ним далеко загремели по линии.

Вася выскочил опять вперед паровоза и начал бросать песок на рельсы, под передние бегунки машины. «Не было бы своего сына, я бы усыновил этого, — бормотал машинист, укрощая буксованье паровоза. — Он с малолетства уже полный человек, а у него еще все впереди… Что за черт: не держат ли еще тормоза где-нибудь в хвосте, а бригада дремлет, как на курорте. Ну, я ее на уклоне растрясу».

Машинист дал два длинных гудка — чтобы отдали тормоза в составе, если где зажато.

Вася оглянулся и сошел с пути.

— Ты что же? — крикнул ему машинист.

— Ничего, — ответил Вася. — Сейчас не круто

будет, паровоз без меня поедет, сам, а потом под гору...

— Все может быть, — произнес сверху машинист. — На, возьми-ка! — И он бросил мальчику два больших яблока.

Вася поднял с земли угощенье.

— Обожди, не ешь! — сказал ему машинист. — Пойдешь назад, глянь под вагоны и послушай, пожалуйста: не зажаты ли где тормоза. А тогда выйди на бугорок, сделай мне сигнал своим фонарем — знаешь как?

— Я все сигналы знаю, — ответил Вася и уцепился за трап паровоза, чтобы прокатиться. Потом он наклонился и поглядел куда-то под паровоз.

— Зажато! — крикнул он.

— Где? — спросил машинист.

— У тебя зажато — тележка под тендером! Там колеса крутятся тихо, а на другой тележке шибче!

Машинист выругал себя, помощника и всю жизнь целиком, а Вася соскочил с трапа и пошел домой.

Вдалеке светился на земле его фонарь. На всякий случай Вася послушал, как работают ходовые части вагонов, но нигде не услышал, чтобы терлись и скрежетали тормозные колодки.

Состав прошел, и мальчик обернулся к месту, где был его фонарь. Свет от него вдруг поднялся в воздух, фонарь взял в руки какой-то человек. Вася добежал туда и увидел своего отца.

— А телок наш где? — спросил мальчик у отца. — Он умер?

— Нет, он поправился, — ответил отец. — Я его на убой продал, мне цену хорошую дали. К чему нам бычок!

— Он еще маленький, — произнес Вася.

— Маленький дороже, у него мясо нежней, — объяснил отец. Вася переставил стекло в фонаре, белое заменил зеленым и несколько раз медленно поднял сигнал над головою и опустил вниз, обратив его свет в сторону ушедшего поезда: пусть он едет дальше, колеса под вагонами идут свободно, они нигде не зажаты.

Стало тихо. Уныло и кротко промычала корова во дворе. Она не спала в ожидании своего сына.

— Ступай один домой, — сказал отец Васе, — а я наш участок обойду.

— А инструмент? — напомнил Вася.

— Я так; я погляжу только, где костыли повышли, а работать нынче не буду, — тихо сказал отец. — У меня душа по теленку болит: растили-растили его, уж привыкли к нему… Знал бы, что

жалко его будет, не продал бы…

И отец пошел с фонарем по линии, поворачивая голову то направо, то налево, осматривая путь.

Корова опять протяжно заныла, когда Вася открыл калитку во двор и корова услышала человека.

Вася вошел в сарай и присмотрелся к корове, привыкая глазами ко тьме. Корова теперь ничего не ела; она молча и редко дышала, и тяжкое, трудное горе томилось в ней, которое было безысходным и могло только увеличиваться, потому что свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек. Вася долго гладил и ласкал корову, но она оставалась неподвижной и равнодушной: ей нужен был сейчас только один ее сын — теленок, и ничего не могло заменить его — ни человек, ни трава и ни солнце. Корова не понимала, что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более. Ее смутный ум не в силах был помочь ей обмануться: что однажды вошло в сердце или в чувство ее, то не могло быть там подавлено или забыто.

И корова уныло мычала, потому что она была полностью покорна жизни, природе и своей нужде в сыне, который еще не вырос, чтобы она

могла оставить его, и ей сейчас было жарко и больно внутри, она глядела во тьму большими налитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе.

Утром Вася ушел спозаранку в школу, а отец стал готовить к работе небольшой однолемешный плуг. Отец хотел запахать на корове немного земли в полосе отчуждения, чтобы по весне посеять там просо.

Возвратившись из школы, Вася увидел, что отец пашет на корове, но запахал мало. Корова покорно волочила плуг и, склонив голову, капала слюной на землю. На своей корове Вася с отцом работали и раньше; она умела пахать и была привычна и терпелива ходить в ярме.

К вечеру отец распряг корову и пустил ее попастись на жнивье по старополью. Вася сидел в доме за столом, делал уроки и время от времени поглядывал в окно — он видел свою корову. Она стояла на ближнем поле, не паслась и ничего не делала.

Вечер наступил такой же, какой был вчера, сумрачный и пустой, и флюгарка поскрипывала на крыше, точно напевая долгую песнь осени. Уставившись глазами в темнеющее поле, корова ждала своего сына; она уже теперь не мычала по

нем и не звала его, она терпела и не понимала.

Поделав уроки, Вася взял ломоть хлеба, посыпал его солью и понес корове. Корова не стала есть хлеб и осталась равнодушной, как была. Вася постоял около нее, а потом обнял корову снизу за шею, чтоб она знала, что он понимает и любит ее. Но корова резко дернула шеей, отбросила от себя мальчика и, вскрикнув непохожим горловым голосом, побежала в поле. Убежав далеко, корова вдруг повернула обратно и, то прыгая, то припадая передними ногами и прижимаясь головой к земле, стала приближаться к Васе, ожидавшему ее на прежнем месте.

Корова пробежала мимо мальчика, мимо двора и скрылась в вечернем поле, и оттуда еще раз Вася услышал ее чужой горловой голос.

Мать, вернувшаяся из колхозного кооператива, отец и Вася до самой полночи ходили в разные стороны по окрестным полям и кликали свою корову, но корова им не отвечала, ее не было. После ужина мать заплакала, что пропала их кормилица и работница, а отец стал думать о том, что придется, видно, писать заявление в кассу взаимопомощи и в дорпрофсож, чтоб выдали ссуду на обзаведение новой коровой.

Утром Вася проснулся первым, еще был серый

свет в окнах. Он расслышал, что около дома кто-то дышит и шевелится в тишине. Он посмотрел в окно и увидел корову; она стояла у ворот и ожидала, когда ее впустят домой…

С тех пор корова хотя и жила, и работала, когда приходилось пахать или съездить за мукой в колхоз, но молоко у нее пропало вовсе, и она стала угрюмой и непонятливой. Вася ее сам поил, сам задавал корм и чистил, но корова не отзывалась на его заботу, ей было все равно, что делают с ней.

Среди дня корову выпускали в поле, чтоб она походила на воле и чтоб ей стало лучше. Но корова ходила мало; она подолгу стояла на месте, затем шла немного и опять останавливалась, забывая ходить. Однажды она вышла на линию и тихо пошла по шпалам, тогда отец Васи увидел ее, окоротил и свел на сторону. А раньше корова была робкая, чуткая и никогда сама не выходила на линию. Вася поэтому стал бояться, что корову может убить поездом или она сама помрет, и, сидя в школе, он все думал о ней, а из школы бежал домой бегом.

И один раз, когда были самые короткие дни и уже смеркалось, Вася, возвращаясь из школы, увидел, что против их дома стоит товарный поезд.

Встревоженный, он сразу побежал к паровозу.

Знакомый машинист, которому Вася помогал недавно вести состав, и отец Васи вытаскивали из-под тендера убитую корову. Вася сел на землю и замер от горя первой близкой смерти.

— Я ведь ей минут десять свистки давал, — говорил машинист отцу Васи. — Она глухая у тебя или дурная, что ль? Весь состав пришлось сажать на экстренное торможение, и то не успел.

— Она не глухая, она шалая, — сказал отец. — Задремала, наверно, на путях.

— Нет, она бежала от паровоза, но тихо и в сторону не сообразила свернуть, — ответил машинист. — Я думал, она сообразит.

Вместе с помощником и кочегаром, вчетвером, они выволокли изуродованное туловище коровы из-под тендера и свалили всю говядину наружу, в сухую канаву около пути.

— Она ничего, свежая, — сказал машинист. — Себе засолишь мясо или продашь?

— Продать придется, — решил отец. — На другую корову надо деньги собирать, без коровы трудно.

— Без нее тебе нельзя, — согласился машинист. — Собирай деньги и покупай, я тебе тоже немного деньжонок подброшу. Много у меня нет,

а чуть-чуть найдется. Я скоро премию получу.

— Это за что ж ты мне денег дашь? — удивился отец Васи. — Я тебе не родня, никто… Да я и сам управлюсь: профсоюз, касса, служба, сам знаешь — оттуда, отсюда…

— Ну, а я добавлю, — настаивал машинист. — Твой сын мне помогал, а я вам помогу. Вон он сидит. Здравствуй! — улыбнулся механик.

— Здравствуй, — ответил ему Вася.

— Я еще никого в жизни не давил, — говорил машинист, — один раз — собаку… Мне самому тяжело на сердце будет, если вам ничем за корову не отплачу.

— А за что ты премию получишь? — спросил Вася. — Ты ездишь плохо.

— Теперь немного лучше стал, — засмеялся машинист. — Научился!

— Поставили другую посуду для песка? — спросил Вася.

— Поставили: маленькую песочницу на большую сменили! — ответил машинист.

— Насилу догадались, — сердито сказал Вася.

Здесь пришел главный кондуктор и дал машинисту бумагу, которую он написал, о причине остановки поезда на перегоне.

На другой день отец продал в сельский рай-

онный кооператив всю тушу коровы; приехала чужая подвода и забрала ее. Вася и отец поехали вместе с этой подводой. Отец хотел получить деньги за мясо, а Вася думал купить себе в магазине книг для чтения. Они заночевали в районе и провели там еще полдня, делая покупки, а после обеда пошли ко двору.

Идти им надо было через тот колхоз, где была семилетка, в которой учился Вася. Уже стемнело вовсе, когда отец и сын добрались до колхоза, поэтому Вася не пошел домой, а остался ночевать у школьного сторожа, чтобы не идти завтра спозаранку обратно и не мориться зря. Домой ушел один отец.

В школе с утра начались проверочные испытания за первую четверть. Ученикам задали написать сочинение из своей жизни.

Вася написал в тетради: «У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я. Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внут-

ренности и кости, она была доброй. Я помню нашу корову и не забуду».

Ко двору Вася вернулся в сумерки. Отец был уже дома, он только что пришел с линии; он показывал матери сто рублей, две бумажки, которые ему бросил с паровоза машинист в табачном кисете.

1941

Сухой хлеб

1

Жил в деревне Рогачевке мальчик Митя Климов семи лет от роду. Отца у него не было, отец его умер на войне от болезни, теперь у него осталась одна мать. Был у Мити Климова еще дедушка, да он умер от старости еще до войны, и лица его Митя не помнил; помнил он только доброе тепло у груди деда, что согревало и радовало Митю, помнил грустный, глухой голос, звавший его. А теперь не стало того тепла и голос тот умолк. «Куда ушел дедушка?» — думал Митя. Смерти он не понимал, потому что он нигде не видел ее. Он думал, что и бревна в их избе и камень у порога тоже живые, как люди, как лошади и коровы, только они спят.

— А где дедушка? — спрашивал Митя у матери. — Он спит в земле?

— Он спит, — говорила мать.

— Он уморился? — спрашивал Митя.

— Уморился, — отвечала мать. — Он всю жизнь землю пахал, а зимой плотничал, зимой он сани делал в кооперацию и лапти плел; всю жизнь ему

спать было некогда.

— Мама, разбуди его! — просил Митя.

— Нельзя. Он осерчает.

— А папа тоже спит?

— И папа спит.

— У них ночь?

— У них ночь, сынок.

— Мама, а ты никогда не уморишься? — спрашивал Митя и с боязнью смотрел в материнское лицо.

— Нет, чего мне, сынок, я никогда не уморюсь. Я здоровая, я не старая... Я тебя еще долго буду растить, а то ты у меня маленький.

И Митя боялся, что мама его уморится, устанет работать и тоже уснет, как уснули дед и отец.

Мать теперь целый день ходила по полю за плугом. Два вола волокли плуг, а мать держала ручки плуга и кричала на волов, чтоб они шли, а не останавливались и не дремали. Мать была большая, сильная, под ее руками лемех плуга выворачивал землю. Митя ходил следом за плугом и тоже покрикивал на волов, чтобы не скучать без матери.

В тот год лето было сухое. Горячий ветер дул в полях с утра до вечера, и в этом ветре летели языки черного пламени, будто ветер сдувал огонь

с солнца и нес его по земле. В полдень все небо застилала мгла; огненный зной палил землю и обращал ее в мертвый прах, а ветер подымал в вышину тот прах, и он застил солнце. На солнце можно было тогда смотреть глазами, как на луну, плывущую в тумане.

Мать Мити пахала паровое поле. Митя ходил за матерью и время от времени носил воду из колодца на пашню, чтобы мать не мучилась от жажды. Он приносил каждый раз половину ведра; мать сливала воду в бадью, что стояла на пашне, и, когда набиралась полная бадья, она поила волов, чтобы они не затомились и пахали. Митя видел, как тяжко было матери, как она упиралась в плуг впереди себя, когда слабели волы. И Митя захотел скорее стать большим и сильным, чтобы пахать землю вместо матери, а мать пусть отдыхает в избе.

Подумав так, Митя пошел домой. Мать ночью испекла хлебы и оставила их на лавке, покрыв от мух чистым рушником. Митя отрезал половину ковриги и начал есть. Есть ему не хотелось, да нужно было: он хотел скорее вырасти большим, скорее войти в силу и пахать землю. Митя думал, что от хлеба он скорее вырастет, только надо съесть его много. И он ел хлебную мякоть

и хлебную корку; сперва он ел в охоту, а потом стал давиться от сытости; хлеб из его рта хотел выйти обратно, а он запихивал его пальцами и терпеливо жевал. Вскоре у него рот уморился жевать, челюсти в щеках заболели от работы, и Митя захотел спать. Но спать ему не надо было. Ему надо есть много и расти большим. Он выпил кружку воды, съел еще капустную кочерыжку и опять стал есть хлеб. Доевши половину ковриги, Митя снова попил воды и стал есть печеную картошку из горшка, макая ее в соль. Картошку он съел только одну, а вторую взял в руку, макнул в соль и заснул.

Вечером мать пришла с пахоты. Видит она, спит ее сын на лавке, голову положил на ковригу свежего хлеба и храпит, как большой мужик. Мать раздела Митю, осмотрела его — не искусал ли его кто, глядит — живот у него, как барабан.

Всю ночь Митя храпел, брыкался ногами и бормотал во сне.

А наутро проснулся, жил весь день не евши, ничего ему не хотелось, одну только воду пил.

С утра Митя ходил по деревне, потом пошел на пашню к матери и все время поглядывал на встречных и прохожих людей: не замечают ли они, что он вырос. Никто не смотрел на Митю с

удивлением и не говорил ему ничего. Тогда он посмотрел на свою тень, не длиннее ли она стала. Тень его словно бы стала больше, чем вчера, однако немного, на самую малость.

— Мама, — сказал Митя, — давай я пахать буду, мне пора!

Мать ответила ему:

— Обожди! Придет и твоя пора пахать! А сейчас твоя пора не пришла, ты малолетний, ты маломощный еще, тебе расти и кормиться еще надо, и я тебя буду кормить!

Митя осерчал на мать и на всех людей, что он меньше их.

— Не хочу я кормиться, я тебя кормить хочу!

Мать улыбнулась ему, и от нее, от матери, все стало вдруг добрым вокруг: сопящие потные волы, серая земля, былинка, дрожащая на жарком ветру, и незнакомый старик, бредущий по меже. Огляделся Митя, и ему показалось, что отовсюду на него смотрят добрые, любящие его глаза, и вздрогнуло его сердце от радости.

— Мама! — воскликнул Митя. — А что мне надо делать? А то я тебя люблю.

— А чего тебе делать! — сказала мать. — Живи, вот тебе работа. Думай о дедушке, думай об отце и обо мне думай.

— А обо мне ты тоже думаешь?

— О тебе я тоже думаю — один ты у меня, — ответила мать. — Ой, лешие! Чего стали? — сказала она волам. — А ну, вперед! Не евши, что ль, жить будем?

2

В родительском дворе, где жил Митя Климов, был старый сарай. Сарай был покрыт досками, и доски стали старые от времени, по ним уже давно рос зеленый мох. А сам сарай ушел с одной стороны наполовину в землю и походил на согнувшегося старика. В темном углу того сарая лежали старые, давние вещи. Туда и отец складывал, что ему нужно было, там и дед хранил, что ему одному было дорого и никому уже не требовалось. Митя любил ходить в тот темный угол сарая-старика и трогать там ненужные вещи. Он брал топор, весь иззубренный, ржавый и негодный, глядел на него и думал: «Его дедушка в руках держал и я держу». Он увидел там деревянную снасть, похожую на корягу, и не знал, что это такое. Мать тогда сказала Мите: это была соха, ею дедушка пахал землю. Митя нашел там еще колесо от домашней прялки… Там же валялся

кочедык[14]: он был нужен дедушке, когда он плел лапти себе и своим детям. Там еще много было добра, и Митя трогал руками забытые предметы, спящие теперь в сумраке сарая; мальчик думал о них, он думал о том, как они жили давно в старинное время; тогда еще Мити не было на свете, и всем скучно было, что его нету.

Нынче Митя нашел в сарае твердую дубовую палку: на одном конце ее был корень, согнутый книзу и острый, а другой конец был гладкий. Митя не знал, что это было. Может, дедушка рыхлил землю, как тяпкой, этим острым дубовым корнем или еще что-нибудь работал. Мать говорила, он всегда работал и ничего не боялся. Митя взял эту дедушкину дубовую тяпку и отнес ее в избу. Может быть, она ему сгодится: дедушка ею работал и он будет.

3

К самому пряслу[15] Климова двора подходило колхозное поле. На поле была посеяна рожь рядами. Каждый день Митя ходил к матери через это

---

[14] Сноски: 14
Плоское, изогнутое металлическое или деревянное шило.

[15] Сноски: 15
Звено деревянной изгороди (забора) от столба до столба.

хлебное поле и видел, как рожь морилась жарою и умирала: малые былинки ржи лишь изредка стояли живыми, а многие уже поникли замертво к земле, откуда вышли на свет. Митя пробовал подымать иссохшие хлебные былинки, чтоб они жили опять, но они жить не могли и клонились как сонные на спекшуюся, горячую землю.

— Мама, — говорил он, — рожь от жары умаривается?

— Умаривается, сынок. Дождей-то ведь не было и теперь нету, а хлеб не железный, он живой.

— А роса есть! — сказал Митя. — Она по утрам бывает.

— А чего роса! — ответила мать. — Роса сохнет скоро; земля вся поверху спеклась, роса вглубь не проходит.

— Мама, а как же быть-то без хлеба?

— Незнамо как и быть… Должно, помощь тогда будет, мы в государстве живем.

— А лучше пусть в колхозе хлеб растет, пусть роса в землю проходит.

— Так бы оно лучше было, да хлеб без дождя не рождается.

— Он не вырастет большой, он спит маленький! — произнес Митя; он скучал о тех, кто спит.

Он пошел один домой, а мать осталась на

пашне. Дома Митя взял дедушкину деревянную тяпку, погладил ее рукою — дедушка тоже, должно быть, гладил ее, — положил тяпку на плечо и пошел на колхозное озимое поле, что было за пряслом.

Там он стал рыхлить тяпкой спекшуюся землю промеж рядов уснувших ржаных былинок. Митя понимал, что хлебу вольнее будет дышать, когда земля станет рыхлой. А еще ему хотелось, чтобы ночная и утренняя роса прошла сверху между комочками земли в самую глубину, до каждого корня ржаного колоска. Тогда роса смочит там почву, корни станут кормиться из земли, а хлебная былинка проснется и будет жить.

Митя ударил нечаянно тяпкой возле самого хлебного стебелька, и стебелек тот сломался и поник.

— Нельзя! — вскричал Митя самому себе. — Ты что делаешь!

Он оправил стебелек, уставил его в земле и стал теперь мотыжить землю лишь посредине междурядья, чтобы не поранить хлебных корней. Потом он положил тяпку и начал руками копать и рыхлить землю у самых корней хлеба. Корни были осохшие, слабые, мать говорила про них, что они малодушные, и Митя осторожно ощупы-

вал пальцами и разрыхлял почву вокруг каждого ржаного корешка, чтобы не сделать ему больно и чтобы роса напоила его.

Митя работал долго и ничего не видел, кроме земли у ослабевших, у дремлющих былинок.

Он опомнился, когда его окликнули. Митя увидел учительницу. Он не ходил в школу, мать сказала ему, что осенью отдаст его в школу, но Митя знал учительницу. Она была на войне, и у нее осталась целой одна правая рука; однако учительница Елена Петровна не горевала, что она калека; она всегда была веселая, она знала всех детей на деревне и ко всем была добрая.

— Митя! Ты что тут копаешься? — спросила учительница.

— Хлеб пусть растет! — сказал Митя. — Я хлебу помогаю, чтоб он жил.

— Как же ты помогаешь? А ну расскажи мне, Митя! Расскажи скорей, ведь сушь стоит!

— Он росу будет пить!

Учительница подошла к Мите и посмотрела на его работу.

— Тебе бы играть надо, тебе не скучно работать одному?

— Не скучно, — сказал Митя.

— А отчего тебе не скучно?.. Приходи завтра

ко мне в школу, мы оттуда в лес на экскурсию с ребятами пойдем, и ты пойдешь…

Митя не знал, что сказать, потом он вспомнил:

— Я маму все время люблю, мне работать не скучно. Хлеб помирает, нам некогда.

Учительница Елена Петровна наклонилась к Мите, обняла его одной рукой и прижала к себе:

— Ах ты, милый мой! Какое сердце у тебя — маленькое, а большое!.. Знаешь что? Ты тяпкой будешь мотыжить, а я пальцами у корней буду копать, а то у меня рука-то всего одна!

И Митя стал мотыжить землю дедушкиной тяпкой, а учительница, присев на корточки, начала копать почву пальцами у самых хлебных корней.

На другой день учительница пришла на колхозное поле не одна; с нею пришло семеро детей, учеников первого и второго классов. Митя один уже работал деревянной тяпкой. Он вышел нынче спозаранку и осмотрел все хлебные былинки, возле которых он вчера разрыхлил землю.

Солнце поднялось, роса уже сошла и ветер с огнем дул по земле. Однако те ржаные колоски, что возделал Митя, нынче словно бы повеселели.

— Они просыпаются! — обрадованно сказал Митя учительнице. — Они проснутся!

— Конечно, проснутся, — согласилась учительница. — Мы их разбудим!

Она увела учеников с собой, и Митя остался один.

«Мама пашет, и я хлебу расти помогаю, — думал Митя. — У учительницы одна рука только, а то бы она тоже работала».

Учительница Елена Петровна взяла в колхозе маленькие узкие тяпки и вернулась со всеми мальчиками и девочками обратно. Она показала детям, как работает Митя, как надо делать, чтобы рос сухой хлеб, — она сама стала работать одной рукой, и все дети склонились к ржаным былинкам, чтобы помочь им жить и расти.

1945

Усомнившийся Макар

Среди прочих трудящихся масс жили два члена государства: нормальный мужик Макар Ганушкин и более выдающийся — товарищ Лев Чумовой, который был наиболее умнейшим на селе и, благодаря уму, руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу. Зато все население деревни говорило про Льва Чумового, когда он шел где-либо мимо:

— Вон наш вождь шагом куда-то пошел, — завтра жди какого-нибудь принятия мер… Умная голова, только руки пустые. Голым умом живет…

Макар же, как любой мужик, больше любил промыслы, чем пахоту, и заботился не о хлебе, а о зрелищах, потому что у него была, по заключению товарища Чумового, порожняя голова.

Не взяв разрешения у товарища Чумового, Макар организовал однажды зрелище — народную карусель, гонимую кругом себя мощностью ветра. Народ собрался вокруг Макаровой карусели сплошной тучей и ожидал бури, которая могла бы стронуть карусель с места. Но буря что-то опаздывала, народ стоял без делов, а тем временем жеребенок Чумового сбежал в луга и

там заблудился в мокрых местах. Если б народ был на покое, то он сразу поймал бы жеребенка Чумового и не позволил бы Чумовому терпеть убыток, но Макар отвлек народ от покоя и тем помог Чумовому потерпеть ущерб.

Чумовой сам не погнался за жеребенком, а подошел к Макару, молча тосковавшему по буре, и сказал:

— Ты народ здесь отвлекаешь, а у меня за жеребенком погнаться некому…

Макар очнулся от задумчивости, потому что догадался. Думать он не мог, имея порожнюю голову над умными руками, но зато он мог сразу догадываться.

— Не горюй, — сказал Макар товарищу Чумовому, — я тебе сделаю самоход.

— Как? — спросил Чумовой, потому что не знал, как своими пустыми руками сделать самоход.

— Из обручей и веревок, — ответил Макар, не думая, а ощущая тяговую силу и вращение в тех будущих веревках и обручах.

— Тогда делай скорее, — сказал Чумовой, — а то я тебя привлеку к законной ответственности за незаконные зрелища.

Но Макар думал не о штрафе, — думать он не мог, — а вспомнил, где он видел железо, и не

вспоминал, потому что вся деревня была сделана из поверхностных материалов: глины, соломы, дерева и пеньки.

Бури не случилось, карусель не шла, и Макар вернулся ко двору.

Дома Макар выпил от тоски воды и почувствовал вяжущий вкус той воды.

«Должно быть, оттого и железа нету, — догадался Макар, — что мы его с водой выпиваем».

Ночью Макар полез в сухой, заглохший колодезь и прожил в нем сутки, ища железа под сырым песком. На вторые сутки Макара вытащили мужики под командой Чумового, который боялся, что погибнет гражданин помимо фронта социалистического строительства. Макар был неподъемен — у него в руках оказались коричневые глыбы железной руды. Мужики его вытащили и прокляли за тяжесть, а товарищ Чумовой пообещал дополнительно оштрафовать Макара за общественное беспокойство.

Однако Макар ему не внял и через неделю сделал из руды железо в печке, после того как его баба испекла там хлебы. Как он отжигал руду в печке, — никому не известно, потому что Макар действовал своими умными руками и безмолвной головой. Еще раз через день Макар сделал

железное колесо, а затем еще одно колесо, но ни одно колесо само не поехало: их нужно было катить руками.

Пришел к Макару Чумовой и спрашивает:

— Сделал самоход вместо жеребенка?

— Нет, — говорит Макар, — я догадывался, что они бы должны сами покатиться, а они — нет.

— Чего же ты обманул меня, стихийная твоя голова! — служебно воскликнул Чумовой. — Делай тогда жеребенка!

— Мяса нет, а то бы я сделал, — отказался Макар.

— А как же ты железо из глины сделал? — вспомнил Чумовой.

— Не знаю, — ответил Макар, — у меня памяти нет.

Чумовой тут обиделся.

— Ты что же, открытие народнохозяйственного значения скрываешь, индивид-дьявол! Ты не человек, ты — единоличник! Я тебя сейчас кругом оштрафую, чтобы ты знал, как думать!

Макар покорился:

— А я ж не думаю, товарищ Чумовой. Я человек пустой.

— Тогда руки укороти, не делай, чего не сознаешь, — упрекнул Макара товарищ Чумовой.

— Ежели бы мне, товарищ Чумовой, твою голову, тогда бы я тоже думал, — сознался Макар.

— Вот именно! — подтвердил Чумовой. — Но такая голова одна на все село, и ты должен мне подчиниться.

И здесь Чумовой кругом оштрафовал Макара, так что Макару пришлось отправиться на промысел в Москву, чтобы оплатить тот штраф, оставив карусель и хозяйство под рачительным попечением товарища Чумового.

* * *

Макар ездил в поездах десять лет тому назад, в девятнадцатом году. Тогда его везли задаром, потом что Макар был сразу похож на батрака, и у него даже документов не спрашивали. «Езжай далее, — говорила ему, бывало, пролетарская стража, — ты нам мил, раз ты гол».

Нынче Макар, так же как и десять лет тому назад, сел в поезд не спросясь, удивившись малолюдью и открытым дверям. Но все-таки Макар сел не в середине вагона, а на сцепках, чтобы смотреть, как действуют колеса на ходу. Колеса начали действовать, и поезд поехал в середину государства — в Москву.

Поезд ехал быстрее любой полукровки. Степи

бежали навстречу поезду и никак не кончались.

«Замучают они машину, — жалел колеса Макар. — Действительно, чего только в мире нет, раз он просторен и пуст».

Руки Макара находились в покое, их свободная умная сила пошла в его порожнюю емкую голову, и он стал думать. Макар сидел на сцепках и думал, что мог. Однако долго Макар не просидел. Подошел стражник без оружия и спросил у него билет. Билета у Макара с собой не было, так как, по его предположению, была советская, твердая власть, которая теперь и вовсе задаром возит всех нуждающихся. Стражник-контролер сказал Макару, чтобы он слезал от греха на первом полустанке, где есть буфет, дабы Макар не умер с голоду на глухом перегоне. Макар увидел, что о нем власть заботится, раз не просто гонит, а предлагает буфет, и поблагодарил начальника поездов.

На полустанке Макар все-таки не слез, хотя поезд остановился сгружать конверты и открытки из почтового вагона. Макар вспомнил одно техническое соображение и остался в поезде, чтобы помогать ему ехать дальше.

«Чем вещь тяжелее, — сравнительно представлял себе Макар камень и пух, — тем оно далее

летит, когда его бросишь; так и я на поезде еду лишним кирпичом, чтобы поезд мог домчаться до Москвы».

Не желая обижать поездного стражника, Макар залез в глубину механизма, под вагон, и там лег на отдых, слушая волнующуюся скорость колес. От покоя и зрелища путевого песка Макар глухо заснул и увидел во сне, будто он отрывается от земли и летит по холодному ветру. От этого роскошного чувства он пожалел оставшихся на земле людей.

— Сережка, что же ты шейки горячими бросаешь!

Макар проснулся от этих слов и взял себя за шею: цело ли его тело и вся внутренняя жизнь?

— Ничего! — крикнул издали Сережка. — До Москвы недалече: не сгорит!

Поезд стоял на станции. Мастеровые пробовали вагонные оси и тихо ругались.

Макар вылез из-под вагона и увидел вдалеке центр всего государства — главный город Москву.

«Теперь я и пешком дойду! — сообразил Макар. — Авось поезд домчится и без добавочной тяжести!»

И Макар тронулся в направлении башен, церк-

вей и грозных сооружений — в город чудес науки и техники, чтобы добывать себе жизнь под золотыми головами храмов и вождей.

* * *

Сгрузив себя с поезда, Макар пошел на видимую Москву, интересуясь этим центральным городом. Чтобы не сбиться, Макар шагал около рельсов и удивлялся частым станционным платформам. Близ платформы росли сосновые и еловые леса, а в лесах стояли деревянные домики. Деревья росли жидкие, под ними валялись конфетные бумажки, винные бутылки, колбасные шкурки и прочее испорченное добро. Трава под гнетом человека здесь не росла, а деревья тоже больше мучились и мало росли. Макар понимал такую природу неотчетливо:

«Не то тут особые негодяи живут, что даже растения от них дохнут! Ведь это весьма печально: человек живет и рожает близ себя пустыню! Где ж тут наука и техника?»

Погладив грудь от сожаления, Макар пошел дальше. На станционной платформе выгружали из вагона пустые молочные бидоны, а с молоком ставили в вагон. Макар остановился от своей мысли:

— Опять техники нет! — вслух определил Макар такое положение. — С молоком посуду везут — это правильно: в городе тоже живут дети и молоко ожидают. Но пустые бидоны зачем возить на машине? Ведь только технику зря тратят, а посуда объемистая!

Макар подошел к молочному начальнику, который заведовал бидонами, и посоветовал ему построить отсюда и вплоть до Москвы молочную трубу, чтобы не гонять вагонов с пустой молочной посудой.

Молочный начальник Макара выслушал — он уважал людей из масс, однако посоветовал Макару обратиться в Москву: там сидят умнейшие люди, и они заведуют всеми починками.

Макар осерчал:

— Так ведь ты же возишь молоко, а не они! Они его только пьют, им лишних расходов техники не видно!

Начальник объяснил:

— Мое дело наряжать грузы: я — исполнитель, а не выдумщик труб.

Тогда Макар от него отстал и пошел, усомнившись, вплоть до Москвы.

В Москве было позднее утро. Десятки тысяч людей неслись по улицам, словно крестьяне на

уборку урожая.

«Чего же они делать будут? — стоял и думал Макар в гуще сплошных людей. — Наверно, здесь могучие фабрики стоят, что одевают и обувают весь далекий деревенский народ!»

Макар посмотрел на свои сапоги и сказал бегущим людям «спасибо!» — без них он жил бы разутым и раздетым. Почти у всех людей имелись под мышками кожаные мешки, где, вероятно, лежали сапожные гвозди и дратва.

«Только чего ж они бегут, силы тратят? — озадачился Макар. — Пускай бы лучше дома работали, а харчи можно по дворам гужом развозить!»

Но люди бежали, лезли в трамваи до полного сжатия рессор и не жалели своего тела ради пользы труда. Этим Макар вполне удовлетворился. «Хорошие люди, — думал он, — трудно им до своих мастерских дорваться, а охота!»

Трамваи Макару понравились, потому что они сами едут, и машинист сидит в переднем вагоне очень легко, будто он ничего не везет. Макар тоже влез в вагон без всякого усилия, так как его туда втолкнули задние спешные люди. Вагон пошел плавно, под полом рычала невидимая сила машины, и Макар слушал ее и сочувствовал ей.

«Бедная работница! — думал Макар о ма-

шине. — Везет и тужится. Зато полезных людей к одному месту несет, — живые ноги бережет!»

Женщина — трамвайная хозяйка — давала людям квитанции, но Макар, чтобы не затруднять хозяйку, отказался от квитанции:

— Я — так! — сказал Макар и прошел мимо.

Хозяйке кричали, чтоб она чего-то дала по требованию, и хозяйка соглашалась. Макар, чтобы проверить, чего здесь дают, тоже сказал:

— Хозяйка, дай и мне чего-нибудь по требованию!

Хозяйка дернула веревку, и трамвай скоро окоротился на месте.

— Вылазь, — тебе по требованию, — сказали граждане Макару и вытолкнули его своим напором.

Макар вышел на воздух.

Воздух был столичный: пахло возбужденным газом машин и чугунной пылью трамвайных тормозов.

— А где же тут самый центр государства? — спросил Макар нечаянного человека.

Человек показал рукой и бросил папиросу в уличное помойное ведро. Макар подошел к ведру и тоже плюнул туда, чтобы иметь право всем в городе пользоваться.

Домá стояли настолько грузные и высокие, что Макар пожалел советскую власть: трудно ей держать в целости такую жилищную снасть.

На перекрестке милиционер поднял торцом вверх красную палку, а из левой руки сделал кулак для подводчика, везшего ржаную муку.

«Ржаную муку здесь не уважают, — заключил в уме Макар, — здесь белыми жамками кормятся».

— Где здесь есть центр? — спросил Макар у милиционера.

Милиционер показал Макару под гору и сообщил:

— У Большого театра, в логу.

Макар сошел под гору и очутился среди двух цветочных лужаек. С одного бока площади стояла стена, а с другого — дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей, и можно бы столбы сделать потоньше, потому что четверка была не столь тяжела.

Макар стал искать на площади какую-либо жердь с красным флагом, которая бы означала середину центрального города и центр всего государства, но такой жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. Макар оперся на камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству.

Макар счастливо вздохнул и почувствовал голод. Тогда он пошел к реке и увидел постройку неимоверного дома.

— Что здесь строят? — спросил он у прохожего.

— Вечный дом из железа, бетона, стали и светлого стекла! — ответил прохожий.

Макар решил туда наведаться, чтобы поработать на постройке и покушать.

В воротах стояла стража. Стражник спросил:

— Тебе чего, жлоб?

— Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отощал, — заявил Макар.

— Чего ж ты будешь здесь работать, когда ты пришел без всякого талона? — грустно проговорил стражник.

Здесь подошел каменщик и заслушался Макара.

— Иди в наш барак к общему котлу, — там ребята тебя покормят, — помог Макару каменщик. — А поступить ты к нам сразу не сможешь, ты живешь на воле, а стало быть — никто. Тебе надо сначала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти.

И Макар пошел в барак кушать из котла, чтобы поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы.

* * *

На постройке того дома в Москве, который назвал встречный человек вечным, Макар ужился. Сначала он наелся черной и питательной каши в рабочем бараке, а потом пошел осматривать строительный труд. Действительно, земля была всюду поражена ямами, народ суетился, машины неизвестного названия забивали сваи в грунт. Бетонная каша самотеком шла по лоткам, и прочие трудовые события тоже происходили на глазах. Видно, что дом строился, хотя неизвестно для кого. Макар и не интересовался, что кому достанется, — он интересовался техникой как будущим благом для всех людей. Начальник Макара по родному селу — товарищ Лев Чумовой, тот бы, конечно, наоборот, заинтересовался распределением жилой площади в будущем доме, а не чугунной свайной бабкой, но у Макара были только грамотные руки, а голова — нет; поэтому он только и думал, как бы чего сделать.

Макар обошел всю постройку и увидел, что работа идет быстро и благополучно. Однако что-то заунывно томилось в Макаре — пока неизвестно что. Он вышел на середину работ и окинул общую картину труда своим взглядом: явно чего-то недо-

ставало на постройке, что-то было утрачено, но что — неизвестно. Только в груди у Макара росла какая-то совестливая рабочая тоска. От печали и от того, что сытно покушал, Макар нашел тихое место и там отошел ко сну. Во сне Макар видел озеро, птиц, забытую сельскую рощу, а что нужно, чего не хватает на постройке, — того Макар не увидел. Тогда Макар проснулся и вдруг открыл недостаток постройки: рабочие запаковывали бетон в железные каркасы, чтобы получилась стена. Но это же не техника, а черная работа! Чтобы получилась техника, надо бетон подавать наверх трубами, а рабочий будет только держать трубу и не уставать, этим самым не позволяя переходить красной силе ума в чернорабочие руки.

Макар сейчас же пошел искать главную московскую научно-техническую контору. Такая контора помещалась в прочном несгораемом помещении, в одном городском овраге. Макар нашел там одного малого у дверей и сказал ему, что он изобрел строительную кишку. Малый его выслушал и даже расспросил о том, чего Макар сам не знал, а потом отправил Макара на лестницу к главному писцу. Писец этот был ученым инженером, однако он решил почему-то писать на бумаге, не касаясь руками строительного дела.

Макар и ему рассказал про кишку.

— Дома надо не строить, а отливать, — сказал Макар ученому писцу.

Писец прослушал и заключил:

— А чем вы докажете, товарищ изобретатель, что ваша кишка дешевле обычной бетонировки?

— А тем, что я это ясно чувствую, — доказал Макар.

Писец подумал что-то втайне и послал Макара в конец коридора:

— Там дают неимущим изобретателям по рублю на харчи и обратный билет по железной дороге.

Макар получил рубль, но отказался от билета, так как он решил жить вперед и безвозвратно.

В другой комнате Макару дали бумагу в профсоюз, дабы он получил там усиленную поддержку как человек из массы и изобретатель кишки. Макар подумал, что в профсоюзе ему сегодня же должны дать денег на устройство кишки, и радостно пошел туда.

Профсоюз помещался еще в более громадном доме, чем техническая контора. Часа два бродил Макар по ущельям того профсоюзного дома в поисках начальника массовых людей, что был написан на бумаге, но начальника не оказалось на служебном месте — он где-то заботился о про-

чих трудящихся. В сумерки начальник пришел, съел яичницу и прочитал бумажку Макара через посредство своей помощницы — довольно миловидной и передовой девицы с большой косой. Девица та сходила в кассу и принесла Макару новый рубль, а Макар расписался в получении его как безработный батрак. Бумагу Макару отдали обратно. На ней в числе прочих букв теперь значилось: «Товарищ Лопин, помоги члену нашего союза устроить его изобретение кишки по промышленной линии».

Макар остался доволен и на другой день пошел искать промышленную линию, чтобы увидеть на ней товарища Лопина. Ни милиционер, ни прохожие не знали такой линии, и Макар решил ее найти самостоятельно. На улицах висели плакаты и красный сатин с надписью того учреждения, которое и нужно было Макару. На плакатах ясно указывалось, что весь пролетариат должен твердо стоять на линии развития промышленности. Это сразу вразумило Макара: нужно сначала отыскать пролетариат, а под ним будет линия и где-нибудь рядом товарищ Лопин.

— Товарищ милиционер, — обратился Макар, — укажите мне дорогу на пролетариат.

Милиционер достал книжку, отыскал там адрес

пролетариата и сказал тот адрес благодарному Макару.

* * *

Макар шел по Москве к пролетариату и удивлялся силе города, бегущей в автобусах, трамваях и на живых ногах толпы.

«Много харчей надо, чтобы питать такое телодвижение!» — рассуждал Макар в своей голове, умевшей думать, когда руки были не заняты.

Озабоченный и загоревавший Макар, наконец, достиг того дома, местоположение которого ему указал постовой. Дом тот оказался ночлежным приютом, где бедный класс в ночное время преклонял свою голову. Раньше, в дореволюционную бытность, бедный класс преклонял свою голову на простую землю, и над той головою шли дожди, светил месяц, брели звезды, дули ветры, а голова та лежала, стыла и спала, потому что она была усталая. Нынче же голова бедного класса отдыхала на подушке под потолком и железным покровом крыши, а ночной ветер природы уже не беспокоил волос на голове бедняка, некогда лежавшего прямо на поверхности земного шара.

Макар увидел несколько новых чистоплотных домов и остался доволен советской властью.

«Ничего себе властишка! — оценил Макар. — Только надо, чтобы она не избаловалась, потому что она наша!»

В ночлежном доме была контора, как во всех московских жилых домах. Без конторы, оказывается, сейчас же началось бы всюду светопреставление, а писцы давали всей жизни хотя и медленный, но правильный ход. Макар и писцов уважал.

«Пусть живут! — решил про них Макар. — Они же думают чего-нибудь, раз жалованье получают, а раз они от должности думают, то, наверное, станут умными людьми, а их нам и надобно!»

— Тебе чего? — спросил Макара комендант ночлега.

— Мне бы нужен был пролетариат, — сообщил Макар.

— Какой слой? — узнавал комендант.

Макар не стал задумываться — он знал вперед, что ему нужно.

— Нижний, — сказал Макар. — Он погуще, там людей побольше, там самая масса!

— Ага! — понял комендант. — Тогда тебе надо вечера ждать: кого больше придет, с теми и ночевать пойдешь — либо с нищими, либо с сезонниками…

— Мне бы с теми, кто самый социализм строит, — попросил Макар.

— Ага! — снова понял комендант. — Так тебе нужен, кто новые дома строит?

Макар здесь усомнился.

— Так дома же и раньше строили, когда Ленина не было. Какой же тебе социализм в пустом доме?

Комендант тоже задумался, тем более что он сам точно не знал, в каком виде должен представиться социализм — будет ли в социализме удивительная радость, и какая?

— Дома-то строили раньше, — согласился комендант. — Только в них тогда жили негодяи, а теперь я тебе талон даю на ночевку в новый дом.

— Верно, — обрадовался Макар. — Значит, ты правильный помощник советской власти.

Макар взял талон и сел на груду кирпича, оставшегося беспризорным от постройки.

«Тоже… — рассуждал Макар, — лежит кирпич подо мной, а пролетариат тот кирпич делал и мучился: мала советская власть — своего имущества не видит!»

Досидел Макар на кирпиче до вечера и проследил, поочередно, как солнце угасло, как огни зажглись, как воробьи исчезли с навоза на по-

кой.

Стали, наконец, являться пролетарии: кто с хлебом, кто без него, кто больной, кто уставший, но все миловидные от долгого труда и добрые той добротой, которая происходит от изможденья.

Макар подождал, пока пролетариат разлегся на государственных койках, и перевел дыхание от дневного строительства. Тогда Макар смело вошел в ночлежную залу и объявил, став посреди пола:

— Товарищи работники труда! Вы живете в родном городе Москве, в центральной силе государства, а в нем непорядки и утраты ценностей.

Пролетариат пошевелился на койках.

— Митрий! — глухо произнес чей-то широкий голос. — Двинь его слегка, чтоб он стал нормальным.

Макар не обиделся, потому что перед ним лежал пролетариат, а не враждебная сила.

— У вас не все выдумали, — говорил Макар. — Молочные банки из-под молока на ценных машинах везут, а они порожние, — их выпили. Тут бы трубы достаточно было и поршневого насоса… То же и в строительстве домов и сараев — их надо из кишки отливать, а вы их по мелочам строите… Я ту кишку придумал и вам ее даром

даю, чтобы социализм и прочее благоустройство наступило скорей…

— Какую кишку? — произнес тот же глухой голос невидимого пролетария.

— Свою кишку, — подтвердил Макар.

Пролетариат сначала помолчал, а потом чей-то ясный голос прокричал из дальнего угла некие слова, и Макар их услышал, как ветер:

— Нам сила не дорога́ — мы и по мелочи дома поставим, — нам душа дорога́. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце. Мы здесь все на расчетах работаем, на охране труда живем, на профсоюзах стоим, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внимания — друг друга закону поручили… Даешь душу, раз ты изобретатель!

Макар сразу пал духом. Он изобретал всякие вещи, но души не касался, а это оказалось для здешнего народа главным изобретением. Макар лег на государственную койку и затих от сомнения, что всю жизнь занимался непролетарским делом.

Спал Макар недолго, потому что он во сне начал страдать. И страдание его перешло в сновидение: он увидел во сне гору, или возвышенность, и на той горе стоял научный человек. А Макар лежал

под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, не видя горюющего Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо учёнейшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что расстилалась под ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора. Научный молчал, а Макар лежал во сне и тосковал.

— Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? — спросил Макар и затих от ужаса.

Научный человек молчал по-прежнему без ответа, и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах.

Тогда Макар в удивлении пополз на высоту по мертвой каменистой почве. Три раза в него входил страх перед неподвижно-научным, и три раза страх изгонялся любопытством. Если бы Макар был умным человеком, то он не полез бы на ту высоту, но он был отсталым человеком, имея лишь любопытные руки под неощутимой головой. И силой своей любопытной глупости Макар долез до образованнейшего и тронул слегка его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное

тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое.

Макар проснулся от удара и увидел над собой ночлежного надзирателя, который коснулся его чайником по голове, чтобы Макар проснулся.

Макар сел на койку и увидел рябого пролетария, умывшегося из блюдца без потери капли воды. Макар удивился способу начисто умываться горстью воды и спросил рябого:

— Все ушли на работу, чего же ты один стоишь и умываешься?

Рябой промокнул мокрое лицо о подушку, высох и ответил:

— Работающих пролетариев много, а думающих мало, — я наметил себе думать за всех. Понял ты меня или молчишь от дурости и угнетенья?

— От горя и сомнения, — ответил Макар.

— Ага, тогда пойдем, стало быть, со мной и будем думать за всех, — соображая высказался рябой.

И Макар поднялся, чтобы идти с рябым человеком, по названию Петр, чтобы найти свое назначение.

Навстречу Макару и Петру шло большое многообразие женщин, одетых в тугую одежду, указывающую, что женщины желали бы быть

голыми; также много было мужчин, но они укрывались более свободно для тела. Великие тысячи других женщин и мужчин, жалея свои туловища, ехали в автомобилях и фаэтонах, а также в еле влекущихся трамваях, которые скрежетали от живого веса людей, но терпели. Едущие и пешие стремились вперед, имея научное выражение лиц, чем в корне походили на того великого и мощного человека, которого Макар неприкосновенно созерцал во сне. От наблюдения сплошных научно-грамотных личностей Макару сделалось жутко во внутреннем чувстве. Для помощи он поглядел на Петра: не есть ли и тот лишь научный человек со взглядом вдаль?

— Ты небось знаешь все науки и видишь слишком далеко? — робко спросил Макар.

Петр сосредоточил свое сознание.

— Я-то? Я надеюсь существовать вроде Ильича-Ленина: я гляжу и вдаль, и вблизь, и вширку, и вглубь, и вверх.

— Да то-то! — успокоился Макар. — А то я намедни видел громадного научного человека: так он в одну даль глядит, а около него — сажени две будет — лежит один отдельный человек и мучается без помощи.

— Еще бы! — умно произнес Петр. — Он на

уклоне стоит, ему и кажется, что все вдалеке, а вблизи нет ни дьявола! А другой только под ноги себе глядит — как бы на комок не споткнуться и не удариться насмерть — и считать себя правым; а массам жить на тихом ходу скучно. Мы, брат, комков почвы не боимся!

— У нас народ теперь обутый! — подтвердил Макар.

Но Петр держал свое размышление вперед, не отлучаясь ни на что.

— Ты видел когда-нибудь коммунистическую партию?

— Нет, товарищ Петр, мне ее не показывали! Я в деревне товарища Чумового видел!

— Чумовых товарищей и здесь находится полное количество. А я говорю тебе про чистую партию, у которой четкий взор в точную точку. Когда я нахожусь на сходе среди партии, всегда себя дураком чувствую.

— Отчего ж так, товарищ Петр? Ты ведь по наружности почти научный.

— Потому что у меня ум тело поедает. Мне яства хочется, а партия говорит: вперед заводы построим — без железа хлеб растет слабо. Понял ты меня, какой здесь ход в самый раз?!

— Понял, — ответил Макар.

Кто строит машины и заводы, тех он понимал сразу, словно ученый. Макар с самого рождения наблюдал глиносоломенные деревни и нисколько не верил в их участь без огневых машин.

— Вот, — сообщил Петр. — А ты говоришь: человек тебе намедни не понравился! Он и партии, и мне не нравится: его ведь дурак-капитализм произвел, а мы таковых подобных постепенно под уклон спускаем!

— Я тоже что-то чувствую, только не знаю что! — высказался Макар.

— А раз ты не знаешь — что, то следуй в жизни под моим руководством; иначе ты с тонкой линии неминуемо треснешься вниз.

Макар отвлекся взором на московский народ и подумал:

«Люди здесь сытые, лица у всех чистоплотные, живут они обильно, — они бы размножаться должны, а детей незаметно».

Про это Макар сообщил Петру.

— Здесь не природа, а культура, — объяснил Петр. — Здесь люди живут семействами без размножения, тут кушают без производства труда…

— А как же? — удивился Макар.

— А так, — сообщил знающий Петр. — Иной одну мысль напишет на квитанции, — за это

его с семейством целых полтора года кормят… А другой и не пишет ничего — просто живет для назидания другим.

Ходили Макар и Петр до вечера; осмотрели Москву-реку, улицы, лавки, где продавался трикотаж, и захотели есть.

— Пойдем в милицию обедать, — сказал Петр.

Макар пошел: он сообразил, что в милиции кормят.

— Я буду говорить, а ты молчи и отчасти мучайся, — заранее предупредил Макара Петр.

В милиционном отделении сидели грабители, бездомные, люди-звери и неизвестные несчастные. А против всех сидел дежурный надзиратель и принимал народ в живой затылок. Иных он отправлял в арестный дом, иных — в больницу, иных устранял прочь обратно.

Когда дошла очередь до Петра и Макара, то Петр сказал:

— Товарищ начальник, я вам психа на улице поймал и за руку привел.

— Какой же он псих? — спрашивал дежурный по отделению. — Чего же он нарушил в общественном месте?

— А ничего, — открыто сказал Петр. — Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет: суди его

тогда. А лучшая борьба с преступностью — это предупреждение ее. Вот я и предупредил преступление.

— Резон! — согласился начальник. — Я сейчас его направлю в институт психопатов — на общее исследование…

Милиционер написал бумажку и загоревал:

— Не с кем вас препроводить — все люди в разгоне…

— Давай я его сведу, — предложил Петр. — Я человек нормальный, это он — псих.

— Вали! — обрадовался милиционер и дал Петру бумажку.

В институт душевноболящих Петр и Макар пришли через час. Петр сказал, что он приставлен милицией к опасному дураку и не может его оставить ни на минуту, а дурак ничего не ел и сейчас начнет бушевать.

— Идите на кухню, вам там дадут покушать, — указала сестра-посиделка.

— Он ест много, — отказался Петр. — Ему надо щей чугун и каши два чугуна. Пусть принесут сюда, а то он еще харкнет в общий котел.

Сестра служебно распорядилась. Макару принесли тройную порцию вкусной еды, и Петр насытился заодно с Макаром.

В скором времени Макара принял доктор и начал спрашивать у Макара такие обстоятельные мысли, что Макар по невежеству своей жизни отвечал на эти докторские вопросы как сумасшедший. Здесь доктор ощупал Макара и нашел, что в его сердце бурлит лишняя кровь.

— Надо его оставить на испытание, — заключил про Макара доктор.

И Макар с Петром остались ночевать в душевной больнице. Вечером они пошли в читальную комнату, и Петр начал читать Макару книжки Ленина вслух.

— Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. — Наши законы — дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки…

Другие больные душой тоже заслушались Ленина, — они не знали раньше, что Ленин знал все.

— Правильно! — поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне.

— Побольше надо в наши учреждения рабочих и крестьян, — читал дальше рябой Петр. — Социализм надо строить руками массового человека,

а не чиновничьими бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь поделом повесят…

— Видал? — спросил Макара Петр. — Ленина — и то могли замучить учреждения, а мы ходим и лежим. Вот она тебе, вся революция, написана живьем… Книгу я эту отсюда украду, потому что здесь учреждение, а завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждение и будем думать для государства.

После чтения Макар и Петр легли спать, чтобы отдохнуть от дневных забот в безумном доме. Тем более что завтра обоим предстояло идти бороться за ленинское и общебедняцкое дело.

* * *

Петр знал, куда надо идти, — в РКИ, там любят жалобщиков и всяких удрученных. Приоткрыв первую дверь в верхнем коридоре РКИ, они увидели там отсутствие людей. Над второй же дверью висел краткий плакат «Кто кого?», и Петр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков.

Макар не испугался Чумового и сказал Петру:

— Раз говорится «кто кого?», то давай мы его…

— Нет, — отверг опытный Петр, — у нас государство, а не лапша. Идем выше.

Выше их приняли, потому что там была тоска по людям и по низовому действительному уму.

— Мы — классовые члены, — сказал Петр высшему начальнику. — У нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей писчей стервой…

— Берите. Она ваша, — сказал высший и дал им власть в руки.

С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме — на базе сочувствия неимущим. Скоро и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и сами бедные могли думать и решать так же, и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах.

Лев Чумовой остался один в учреждении, поскольку его никто письменно не отзывал оттуда. И присутствовал он там до тех пор, пока не была назначена комиссия по делам ликвидации государства. В ней тов. Чумовой проработал сорок четыре года и умер среди забвения и канцелярских дел, в которых был помещен его организационный гос-ум.

1929

На заре туманной юности

1

Родители ее умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Ольге тогда было четырнадцать от роду, и она осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где отец ее работал составителем поездов. После того как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, девочка жила еще несколько дней в пустой, выморочной квартире из кухни и комнаты. Ольга вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что ей делать дальше и как теперь жить. Соседка-бабушка принесла девочке кулеш в чашке, чтобы сирота, бывшая худой и не по летам маленького роста, поела что-нибудь, и Ольга скушала все без остатка. А когда бабушка ушла, Оля начала стирать белье: рубашку матери и подштанники отца, что от них сохранилось из белья и верхней одежды. Вечером Ольга легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. Наутро она встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и

сказала: «Опять надо жить!» — так часто говорила ее мать. Затем Ольга пошла в кухню и стала там хлопотать, точно она, подобно умершей матери, стряпала обед; стряпать было нечего, не было никаких продуктов, но Ольга все же поставила пустой горшок на загнетку печки, взяла чаплю, оперлась на нее и, вздохнув, пригорюнилась около печи, как делала мать. Потом она перетерла и составила в ящик стола всю посуду, посмотрела на часы, подтянула гирю к циферблату и подумала: «Не то отец вовремя придет с дежурства, не то запоздает? Если будет формироваться маршрут, то опоздает» — так обычно думала мать Ольги, называя своего мужа отцом. Теперь девочка-сирота тоже думала и поступала подобно матери, и ей от этого было легче жить одной. Она знала, что ей четырнадцать лет и ее зовут Ольгой, но, когда она делала вместо матери все дела по хозяйству, когда она повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на кухне, девочка воображала себе, что мать ее еще жива в ней немного, она чувствовала ее вместе с собою.

Вечером Ольга зажгла лампу, в ней был на дне керосин, налитый когда-то отцом, и поставила огонь на подоконник. Так же делала и ее мать, когда ожидала отца в темное время. Отец, подходя к

дому, еще издали кашлял на улице и сморкался, чтобы жена и дочь слышали, что идет отец. Но теперь на улице было постоянно тихо; народ разошелся по сельским хлебным местам либо лежал в своих жилищах слабый и болезненный, а в некоторых дворах вовсе вымер. Ольга все же дотемна ожидала отца или кого-нибудь, кто бы пришел к ней, но никто не вспомнил о сироте — ни бабушка-соседка, ни другие люди, потому что у них была своя боль и своя забота. Тогда она легла в кровать родителей и уснула одна.

Девочка пожила дома еще два дня, переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко от нее, в губернском городе на Волге, жила ее тетя; она приезжала два года тому назад гостить к матери и была в воображении Ольги богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом, и девочка хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если Ольге суждено жить, то пусть она едет к тетке, чтобы не оставаться одной на свете; сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в учение. Теперь дочь вспомнила мать и послушалась ее.

На вокзале было пустынно; война с буржуями

отошла в южную сторону. На железнодорожном пути против вокзальной платформы стоял один небольшой, старый паровоз и два пустых товарных вагона. Из будки паровоза на девочку глядел помощник машиниста; он помнил ее отца и мать, и знал, что они скончались, поэтому позвал сироту на машину. Девочка влезла по трапу на паровоз; механик развязал красный платок с пищей и вынул оттуда четыре печеные картошки; затем он погрел их на котле, посыпал солью и дал Ольге поесть две картошки, а две съел сам. Ольге захотелось, чтобы механик взял ее к себе домой, она бы стала у него жить и привыкла бы к нему. Но паровозный механик ничего не сказал девочке доброго, он только покормил ее и спрятал обратно свой пустой красный платок. Он сам был многодетный человек и не мог решить, сможет ли он прокормить лишний рот.

Ольга просидела на паровозе до самых вечерних сумерек, пока не подъехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы.

— Я теперь пойду, мне к тетке ехать надо, — сказала Ольга механику. — Мне мать велела, когда она еще живая была.

— Раз надо, тогда езжай, — сказал ей механик.

Ольга сошла с паровоза и направилась к красноармейскому поезду. Все вагоны были открыты настежь, и почти все красноармейцы вышли наружу; некоторые из них ходили по вокзальной платформе и смотрели, что находится вокруг них — водонапорная башня, дома около станции и далее их простые хлебные поля. Четыре красноармейца несли суп в цинковых ведрах из станционной кухни; Ольга близко подошла к тем ведрам с супом и поглядела в них: оттуда пахло вкусным мясом и укропом, но это было для красноармейцев, потому что они ехали на войну и им надо быть сильными, а Ольге кушать этот суп не полагалось.

Около одного вагона стоял задумчивый красноармеец; он не спешил идти обедать и отдыхал от дороги и от войны.

— Дядя, можно я тоже с вами поеду? — попросилась Ольга. — Меня родная тетка ждет…

— А она где отсюда проживает? — спросил красноармеец. — Далече?

Ольга назвала город, и красноармеец согласился, что это — далеко, пешком не дойдешь, а с поездом завтра к утру, пожалуй, поспеешь туда.

В это время к вагону подошли два красноармейца с ведром супа, а позади них еще несколько

красноармейцев несли в руках хлеб, махорку, кашу в кастрюле, мыло, спички и прочее довольствие.

— Вот тут девочка доехать до тетки просится, — сказал красноармеец своим подошедшим товарищам. — Надо бы взять ее, что ли…

— А чего нет — пускай едет! — сказал красноармеец, прибывший с двумя хлебами под мышками. — В невесты она не годится — мала, а в сестры — как раз…

Ольгу подсадили в вагон, дали ей ложку и большой ломоть хлеба, и она села среди красноармейцев, чтобы есть общий суп из цинкового чистого ведра. Вскоре один красноармеец заметил, что ей неловко есть, сидя на полу, и он велел ей встать на колени — тогда она будет доставать ложкой погуще со дна, будет видеть, где плавает жир и где находится говядина.

После ужина поезд тронулся. Красноармейцы уложили Ольгу на верхнее помостье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли ее двумя шинелями, чтобы она не продрогла от ночной или утренней прохлады.

2

Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции; незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и ломоть сала и опустили ее из вагона под руки на землю.

— Тут твоя тетка живет, — сказали они. — Ступай к ней, учись и вырастай большая, в твое время хорошо будет жить.

— А я не знаю, где тетка живет, — произнесла Ольга снизу; она стояла теперь одна, в бедной юбчонке, босая и с хлебом под мышкой.

— Сыщешь, — ответил задумчивый красноармеец. — Люди укажут.

Но Ольга не уходила; ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. Она уже привыкла к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной.

— Ну, иди помаленьку, — поторопили ее из вагона.

— А вы сказали, мне хорошо будет, а когда? — спросила она, боясь сразу уходить к тетке, неиз-

вестно куда.

— Потерпи, — ответил ей прежний, задумчивый красноармеец. — Нам сейчас заботы много: белых надо покончить.

— Я потерплю, — согласилась Ольга. — А теперь до свиданья, я к тетке пошла.

Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но сперва никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга съела поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор — попросить напиться. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего.

— А я не побираюсь, я к тетке приехала, — сказала Ольга.

— А кто ж твоя тетка-то? — с подозрением спросила дворовая женщина.

Ольга подробно назвала свою тетку; тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти: направо за угол, и там будет

третий дом по левой стороне с некрашеными ставнями, там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету.

— Нету? — спросила Ольга.

— Нету, — подтвердила женщина, — у этих людей дети рожаться не любят.

Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашеными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травою, и постучала в запертые сени. Оттуда послышался недовольный, тихий голос, затем шаги, и дверь отворилась — она была закрыта на засов и щеколду, как на ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела всю девочку. Ольга увидела перед собой тетку; она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, когда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери, а теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота.

— Ты что сюда явилась? — спросила тетка.

— Мне мать велела, — произнесла Ольга. — Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу… Тетя, их больше нету!

Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза.

— Наша родня вся недолговечная, — сказала она. — Я ведь тоже только на вид здорова, а сама не жилица… И-их, нет, не жилица!

Ольга с удивлением смотрела на тетку — теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе.

— Живешь-живешь, и погоревать некогда, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Ты ступай покуда посиди на улице, — указала она племяннице, — а то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда…

— А я на дворе побуду, тут трава у вас растет, — сказала Ольга.

Но Татьяна Васильевна рассердилась:

— Нечего тебе на дворе тут делать! Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя… Ступай по тропинке за ворота!

Ольга вышла на улицу; посредине ее лежали сложенные в штабель старые ржавые рельсы, и между ними уже много раз вырастала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы — они находились как раз против окон того дома, где жила тетка, — и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и

тогда ее позовут и накормят.

Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в свои деревни и ломовые возчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить, — наступил вечер, и стало темно. У Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынущем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет, а на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Ольга побежала поскорее к тетке; калитка была закрыта, тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой; он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, что к нему пришли отымать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у животных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола.

Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась ка-

литка, и оттуда выглянула тетка.

— Ты что стучишь? — спросила она. — А мы уж думали, ты давно ушла…

— Я уморилась ждать, когда вы позовете, — сказала Ольга. — Я боюсь одна на улице…

— Ну иди уж, — позвала тетка.

В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно и пахло хорошо, как у богатых. «Здесь я жить не буду, — подумала Ольга. — Тут нельзя: скажут, ты испачкаешь все». Муж Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин.

— От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пои, корми ее, одевай и обувай!..

— Изволь радоваться! — равнодушно, точно про себя, сказал муж Татьяны Васильевны. — Ну, дай ей поесть, и пускай она сегодня переночует… А то отвечать еще за нее придется!

— А чего ж я ей постелю-то! — воскликнула тетка. — У нас ведь нет ничего лишнего-то: ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой!

— Я так буду спать — на жестком, а покроюсь своим платьем, — согласилась Ольга.

— Пусть ночует, — указал жене дядя, Аркадий

Михайлович. — А ты нынче не зверствуй, а то тебе Советская власть покажет!

Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление:

— Чем же это она мне покажет-то?.. Советская-то власть, она думает, что люди это ангелы-товарищи, а они возьмут нарожают тебе детей, а сами помрут, — вот пусть она их и кормит, власть-то Советская!..

— Прокормит, — уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки.

— «Прокормит!» — передразнила Татьяна Васильевна своего мужа. — Кто их прокормит, если у них родители рожают без удержу! Уж я-то знаю, как трудно оборачиваться Советской власти, уж я-то ей сочувствую!..

— Меня кормить не надо, я спать хочу, — сказала Ольга; она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином.

Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте:

— Садись доедай — тут осталось.

Ольга села к столу и начала понемногу есть пшенную кашу, подгребая ее со дна чашки.

— Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо,

ты спать хочешь, — произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтоб девочка ложилась спать.

— Я немножко, — ответила Ольга; она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол. — Больше не буду, — сообщила она.

— Уже наелась? — добрым голосом спросила Татьяна Васильевна.

— Нет, я расхотела, — сказала Ольга.

— Ну, ложись теперь спать, отдыхай, — пригласила ее тетка на сундук. — А то мы свет сейчас потушим: чего зря керосину гореть!

Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.

3

Утром дядя и тетка проснулись рано; дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу — кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, четыре вареных яйца, — и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не осту-

дить голову на ветру.

— Так как же нам теперь жить-то? — шепотом спросила Татьяна Васильевна у мужа.

— А что? — сказал Аркадий Михайлович.

— Да видишь вон, — указала тетка на Ольгу, — лежит наше новое сокровище-то!

— Она — твоя родня, — ответил ей муж, — делай сама с нею, что хочешь, а мне чтоб покой дома был.

После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала:

— Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуют, оденут и с приданым замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок, — вот я босая, в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная… Может, бог даст, вы скоро подохнете — дядя с тетей, — так я тут хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пущу!.. Ну уж, милая, пускай черти кромешные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю и куском моим ты подавишься!.. Мужик целый день на работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут, на тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня… Ольга, чего ты

все спишь-то? — вдруг громко позвала Татьяна Васильевна. — Ишь, уморилась, подумаешь, — вставать давно пора! Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя!..

Ольга лежала неподвижно, обратившись лицом к стене; она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее; изношенное серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней — она из него выросла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала, тесно сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей.

— Ишь ты, разнежилась как! — раздражалась близ нее тетка.

— Я не сплю, — сказала Ольга.

— А что ж ты лежишь тогда, мне ведь горницу убирать пора!

— Я вас слушала, — ответила девочка.

Тетка осерчала:

— Ты еще путем не выросла, а уж видать, что — ехидна!

Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей:

— Пойди умойся, потом я самовар поставлю. Небось кушать хочешь!

Ольга ничего не ответила; она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть.

За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот.

— Иль ты не сыта еще? — спросила тетка. — Тебя теперь и не прокормишь!.. Уйдешь из дому, а ты и начнешь по шкафам крошки собирать да по горшкам лазить… А мне сейчас как раз на базар надо идти, как же я тебя одну-то во всем доме оставлю?

— Я сейчас пойду, я у вас не останусь, — ответила ей Ольга.

Тетка довольно улыбнулась.

— Что ж, иди — значит, тебе есть куда идти… А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходить. Так-то будет лучше.

— Когда соскучусь, тогда приду, — пообещала Ольга, и она ушла.

На улице было утро, с неба светило теплое солнце; скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали

старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому, большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желания, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие; ей стало теперь неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты, люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по семиразрядной тарифной сетке; затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет — она хотела жить в общежитии и учиться; она уже четыре зимы ходила в школу, когда жила при родителях.

В канцелярии университета никого не было, все ушли в столовую, но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами моченые кусочки хлеба. Он сказал Ольге, что ее по малолетству и несознательности сейчас в университет

не примут, пусть она сначала поучится добру в низшей школе.

— Я хочу жить в общежитии, — проговорила Ольга.

— Чего хорошего! — ответил ей старик. — Живи с родными, там тебе милее будет.

— Дедушка, дай мне тюрю доесть, — попросила Ольга. — У тебя ее немножко осталось, ты ей все равно не наешься, а моченки ты уже все повытащил…

Старик отдал свою кружку сироте:

— Похлебай: ты еще маленькая, тебе хватит, может, наешься… А ты чья сама-то будешь?

Ольга начала есть тюрю и ответила:

— Я ничья, я сама себе своя.

— Ишь ты, сама себе своя какая! — произнес старик. — А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром, жила бы в чистом поле…

Ольга отдала кружку обратно старику:

— Доедай сам, тут еще осталось… Меня в люди не принимают!

4

Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших

железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии — койку и шкаф — рядом с другой такой же койкой в маленькой выбеленной комнате; далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся курсанты.

На завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, комендант велел Ольге оформить свое поступление посредством заполнения анкеты.

Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых.

Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащейся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме.

Тревога и грусть перед жизнью, вызванные

в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся Советская власть считают ее необходимой для себя и без нее им будет хуже.

И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь — отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает.

Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки маневрового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутах… Но глаза ее понемногу привыкали к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу.

Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом, ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие — будущая счастливая жизнь; из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей.

В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой: ее отца убили на империалистической войне, а мать, нестарая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди; утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин, что такое революция, — и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотоле было бедным и несчастным, потому что оно чувствовало жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью, в одиночестве своей комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и забывала приносить дочери хлеб…

Подруги, общежитие, обучение науке, кружки

самодеятельности, питание всем готовым в столовой — это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу.

Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, почему здесь не нужно вдобавок к ученью работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармони, и читать книги, описывающие всю жизнь. И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро бедного народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприютных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобретала из книг и от учителей на курсах; ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным, тихим сердцем, — она хотела им чувствовать все, что ей раньше было незнакомо.

На вечере в честь годовщины Октябрьской революции Ольга впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда, и она заплакала оттого, что это было хорошо,

оттого, что жизнь не может быть скучна и обыкновенна, она должна быть волшебной, похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце.

Ольга спросила у Лизы, которая была рядом с ней на стуле:

— Лиза, нас не прогонят отсюда домой? У меня ведь дома больше нет! Кто это все делает для нас?

— Это Ленин, — сказала Лиза. — Он нас никогда не тронет!

— А почему? — спросила Ольга.

Лиза удивилась:

— Почему?.. А потому, что он нас тоже любит, мы будущие люди, мы будем коммунизмом… Без нас всем станет плохо.

Ольга задумалась, она не поняла Лизу:

— А как же он будет — коммунизм? Надо ведь стараться!

— Ленин знает, как будет все! — легко ответила Лиза.

Ольга посмотрела на портрет Ленина: «Он уже старый, — подумала она, — как мой отец; мы много хлеба едим и одежду скоро носим, а вчера на курсы пять возов дров привезли, — нам надо скорее учиться и вырастать, чтоб самим рабо-

тать». Она была мала ростом и несильная в теле, и сама это знала. «Как бы не помереть, — еще озаботилась она. — Недавно тиф и грипп ходили, а то на нас Ленин потратит последнее, а мы вдруг помрем от болезни и ничего не сделаем, и даже его никогда не увидим».

Ночью, укрывшись в одеяло с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни; она представила Ленина, как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей, — и от этой мысли она почувствовала ясное, верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну без надежды и без родства на свете?.. Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно, — так было ей лучше думать о нем и счастливее жить.

5

Ослабленным и худым учащимся в столовой давали обыкновенно добавок к обеду, если они его просили, — по второй тарелке супу или каши. В первое время ученья Ольга тоже часто брала себе добавок, чтобы сытнее наедаться, но теперь

она перестала требовать добавки и с неудовольствием смотрела на Лизу, которая всегда съедала двойную порцию второго блюда. Ольга жалела общую пищу республики, чтобы осталось больше хлеба для красноармейцев и рабочих, для всех, кто сейчас нужнее, чем она.

Но через несколько месяцев, к весне, их столовой вдруг вовсе перестали выдавать продукты, а всем учащимся курсантам задержали уплату стипендий. После оказалось, что в этом деле были повинны белые офицеры, служившие в губпродкоме и финотделе, и те, кто им доверил советскую службу.

Лиза, не поев всего два дня, на третий день заплакала, а Ольга не стала плакать. Ольга с утра пошла на третий этаж дома, где жили разные вольные жильцы, и попросила у хозяек работы по домашнему хозяйству, — уроки в этот день она пропустила. Но хозяйки из экономии всюду управлялись сами, и лишь в одной квартире полная женщина, Полина Эдуардовна, велела Ольге вымыть полы, потому что ей самой было трудно нагибаться от излишней полноты тела. За эту работу Ольга получила фунт хлеба, два куска сахара и еще немного денег.

Вернувшись в общежитие, Ольга подождала

Лизу, когда окончатся дневные уроки, и разделила с ней пополам хлеб и сахар. Лиза скушала свою долю, но не наелась и опять стала печальной от голода.

— Скажи мне, какие были сегодня уроки? — спросила у нее Ольга.

— Сегодня были неинтересные уроки! — ответила Лиза.

Ольга нахмурилась:

— Ты учись теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут, — сказала она. — А я буду тебя кормить и у тебя уроки записывать, а по вечерам стану их готовить.

Лиза спросила:

— А что ты будешь делать?

— Полы пойду у людей помою, за детьми посмотрю, — делов везде много, — грустно сказала Ольга. — А ты учись, я тебя одна прокормлю.

— Я есть хочу, — произнесла Лиза. — Я не наелась твоим хлебом и куском сахара.

— Я тебе сейчас еще хлеба принесу, — пообещала Ольга и ушла из комнаты.

Она отправилась к тетке, но побоялась пойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткиного дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находились на прежнем месте, и

Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой. Она сидела долго и видела, что тетка два раза глядела на нее в окно, но тем более ей трудно было пойти в дом родных, хотя Ольга уже давно озябла на зимнем холоде.

Вечером Татьяна Васильевна вышла за калитку и позвала племянницу:

— Иди уж, чего сидишь!.. Потрескай моего кулешу…

Ольга вошла в дом и съела кулеш из жестяной чашки, которую подала ей тетка; Аркадия Михайловича дома не было, но Татьяна Васильевна торопила, чтоб Ольга ела скорее, потому что тетке надо было уходить, и она из-за спешки даже забыла дать сироте хлеба, из-за которого Ольга и пришла к тетке, с тем чтобы унести хлеб Лизе.

Накормив племянницу кулешом без хлеба, Татьяна Васильевна неожиданно сказала:

— Посиди еще, мне рано уходить, — и вдруг вытерла фартуком глаза, где не было слез или их было очень мало.

Затем тетка рассказала Ольге, что ей сейчас надо идти в железнодорожную столовую: муж ее, Аркадий Михайлович, теперь всегда как сменится, то умывается прямо из паровоза и потом идет в столовую, где он спознался, на старости лет,

с одной официанткой-подавалкой, Маруськой Вихревой, и ей надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену…

— Тетя, — обратилась Ольга, — дайте мне кусочек хлеба побольше.

Тетка молча поглядела на сироту и еще некоторое время подумала.

— Ну да бери уж, — произнесла тетка в раздражении от гибели всей своей жизни. — Все одно, жить теперь мне не судьба… Горькая моя головушка!

Татьяна Васильевна заплакала и запричитала по самой себе, затем по мужу и по своему опустевшему дому, а Ольга самостоятельно открыла шкаф, где хранились продукты, и взяла оттуда ковригу печеного хлеба. Тетка глядела на нее, но ничего не говорила, только когда Ольга разрезала ковригу пополам и половину хлеба взяла себе на руки, Татьяна Васильевна вскрикнула и еще сильнее заплакала.

— Вот моей и жизни конец! — тихо сказала она. — Кого мне теперь кормить, кого питать, кого в доме ожидать!..

Ольга пообещала вскоре еще навестить родную тетку и попрощалась с нею; она спешила.

— Приходи хоть ты-то ко мне! — попросила ее

Татьяна Васильевна. — Уж ты видишь, какая я стала — совсем на человека не похожа…

В общежитии Ольга застала Лизу; она уже вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Ольга отдала ей хлеб и велела есть, а сама начала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать. Лиза жевала хлеб и говорила подруге, что сегодня было в классе, но она сама плохо усвоила уроки и не могла объяснить, что такое периодическое число.

— Надо стараться, — сказала ей Ольга. — Чего ты уроки не досиживаешь? А когда сидишь — о чем думаешь? Эх ты, горькая твоя головушка!

— Тебе какое дело! — обиделась Лиза. — Чего мы завтра будем есть? — вздохнула она.

— Что сегодня, то и завтра, — ответила Ольга. — Я достану. Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься и периодического числа не запомнила… Это прошедшие, буржуазные люди такие были — вздыхали и боялись, а сами жили по сорок и пятьдесят лет… Нам надо остаться целыми, нас Ленин любит!

Лиза перестала есть хлеб и сказала:

— Я больше не буду, давай уроки вместе делать, — у меня в животе щипало, есть хотелось…

— Что у тебя, кроме живота ничего нету, что ли? — рассердилась Ольга. — У тебя сознание должно где-нибудь быть!

Подруги сели делать уроки к общему столику, и долго еще светил свет на две их задумчивые, склонившиеся головы, в которых работал сейчас их человеческий разум, питаемый кровью из сердца. Но вскоре они нечаянно задремали и, встрепенувшись на мгновение, улыбнулись и легли на свои кровати в безмолвном детском сне.

Наутро Ольга снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу, а Лиза должна учиться пока одна за них обеих.

Через два дома от общежития курсов Ольге пришлось наняться приходящей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену, — другой домашней работы нигде не было. Ребенку было всего полтора года, звали его Юшкой, и Ольга должна находиться с ним в комнате по девять и десять часов в день, пока отец Юшки не возвратится под вечер с завода; за эту работу Ольга должна получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников Нарпита.

Ольга полюбила Юшку; это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми

глазами, внимательно и добродушно наблюдавший все явления и происшествия в комнате; он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Ольгу привлекла в ребенке одна его особенность: взяв сначала, он отдавал обратно ей все, что она ему дарила, и прибавлял к тому еще что-нибудь лишнее, что у него бывало под руками — в люльке или на полу, где он играл и ползал. Если Ольга давала ему старую погремушку, то мальчик дарил ей в ответ деревянную бочку, которой он играл до того, и норовил еще отдать и соску с пузырьком или прочую обиходную для него вещь.

Когда Ольга кормила Юшку кашей, он ел с охотой в том случае, если нянька тоже ест с ним — одну ложку себе в рот, а другую ему, и так по очереди, иначе ребенок есть не хотел.

Ровно месяц прожила Ольга в няньках, нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли, а потом нужда в работе миновала: курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии и в столовую начали возить продукты. Но Ольга уже не могла оставить Юшку одного без помощи; почти ежедневно она видела его, навещая ребенка в обеденный перерыв между уроками или вечером после занятий.

У Юшки уже была другая нянька, старуха, но Юшка признавал Ольгу выше, любимей старухи и всегда тянулся к ней.

Отец Юшки, тридцатилетний механик-дизелист, молча глядел на Ольгу, когда она нянчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: «Как жаль, как жаль!» Ему было жалко, что Ольга никогда не сможет быть для Юшки приемной матерью, и он, отвернувшись от сына и Ольги, глядел в окно и видел, что оно становится мутным, потому что у него застилались глаза несдержанными слезами.

Ольге не понравилась новая нянька — старуха; она могла теперь доверить Юшку лишь с большой разборчивостью; поэтому Ольга отыскала детские ясли и уговорила отца устроить туда Юшку.

Отец вначале колебался — он не верил, что государственные няньки, члены профсоюзов, получающие зарплату по тарифной сетке, могут заменить детям матерей, но Ольга возразила ему тем, что она тоже государственная, советская нянька и тоже получала у него зарплату по тарифу. Отец тогда подумал и согласился носить Юшку в детские ясли.

6

Через три года, по окончании курсов, Ольгу и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Перед отъездом Ольга попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть Ольгу мамой; он обнял ее и долго не отпускал от себя, пока им не пришло время расстаться…

Ольге в ту пору стало семнадцать лет, а Лизе восемнадцать. Их отправили, как подруг, вместе, чтобы они не скучали и лучше работали.

Им назначили проходить практику на маленькой станции Серьга, невдалеке от города, где они учились. Здесь они должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом.

Стояло лето, жилого поселка вблизи станции не было, поэтому начальник станции поселил курсанток в оборудованный для перевозки войск товарный вагон, поданный в дальний тупик.

Сначала подруги захотели пройти практику на станционном паровозе, с чем согласился начальник станции, — и они целые долгие летние дни дежурили на старом паровозе серии «О-В».

Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск, его заменял теперь помощник Иван Подметко, молчаливый парень тридцати с лишним лет, а Ольга и Лиза вдвоем служили ему помощниками. Подметко стал учить девушек машине своим способом — как не надо на ней работать.

— Видишь, паровоз у меня сейчас не стронется с места, а пар я открою, — говорил Подметко. Он открывал регулятор, но машина не шла.

Ольге и Лизе нужно было догадываться, отчего это происходило.

— Отсечка мала, поверни реверс! — догадывалась Ольга.

— Ну верно, — ухмылялся Подметко. — А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарахну реверсом назад, а регулятор оставлю на всем открытии, — предлагал Подметко, — то что у меня тогда получится?

— Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров порвешь либо поршневой шток согнешь, либо дышла искалечишь, — сообщала ему Ольга.

— Всякой дурочке понятно, — соглашался Подметко. — А котел вы можете сжечь? Я вас научу... Ну это после, а сейчас ступайте, всю машину оботрите, чтоб блестела, а сами потом умой-

тесь, — что вы чумазые, как чумички, сидите на паровозе: грязь ведь это лишнее трение и смерть!.. Смотрите на меня — и думайте!

После трех месяцев работы на паровозе Лиза стала работать в конторе у начальника станции — изучать искусство движения поездов по графику, а Ольга была направлена в пакгауз — в помощники к весовщику; она хотела в точности знать дело грузовых операций, главную работу железных дорог.

Поздней осенью практические занятия обеих курсанток кончились; они должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на постоянную, обыкновенную службу. Едва ли их назначат вместе, и подругам предстояла разлука. Они часто сидели по вечерам в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая их ожидает впереди. Перед ними была смутная степь, холодеющая в ночи, — большая, грустная, но добрая и волшебная, как будущее время, ожидающее юность. У подруг заходилось сердце от предчувствия и воображения, и они обнимали друг друга, полные доверчивости.

Незадолго до отъезда навсегда со станции Серьга Ольга однажды проснулась на утренней заре.

Лиза крепко спала рядом с нею, укутавшись с головой в серое железнодорожное одеяло, взятое из спального вагона. В воинской теплушке было привычно тепло и тихо, подруги ее успели обжить за длинное лето. И это их темное, тихое жилище начал заполнять далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра гудок паровоза. Тогда Ольга сообразила, отчего она проснулась: паровоз, наверно, кричал еще раньше, во время ее сна. Она сразу вскочила с места и побудила Лизу:

— Вставай… У него тормоза не держат!

Ольга схватила свою одежду с табуретки и оделась. Паровоз опять запел, приближаясь издалека. Ольга прислушалась к словам машины:

«Нет, — задумалась она. — Он говорит о том, что у него состав оборван…»

Она раскатила дверь, выпрыгнула из вагона и побежала к станции; Лизу ей ожидать уже было некогда, пусть она спит одна на заре и не раскрывает на себе одеяло.

Против вокзального здания на третьем пути стоял одинокий паровоз; он был единственным на станции, и больше ничего не было вокруг него, кроме здания вокзала, и степь тоже была сейчас светлой и пустой. Из паровоза глядели в направлении приближающегося поезда два человека

— пожилой машинист и его помощник Иван Подметко; они ожидали, что случится, когда оборван состав поездного маршрута; по правилу все поездные маршруты миновали станцию Серьгу с ходу, без остановки, как и все пассажирские поезда, кроме почтовых.

В минувшую ночь на станции дежурил сам начальник станции. Он стоял сейчас на платформе и, сняв фуражку, вслушивался в сигналы приближающегося поезда, идущего с затяжного уклона.

Ольга подбежала к нему:

— Вы слышите — у него состав оборван!

— Я слышу, — недовольно ответил начальник станции, и вдруг он опечалился и рассерчал, как пожилой, уставший человек: — Ну отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покоя не полагается?..

Ольга ему не ответила; она глядела в сторону набегающей катастрофы; оробевший начальник станции поглядел туда же.

Вдали, на прямой, был виден путь, поднимаясь от станции в крутой и долгий подъем, и оттуда, с затяжного уклона, шел грудью вперед паровоз — с открытым полным паром, на всей отсечке.

Тот паровоз время от времени тревожно пел, то сигналя об обрыве, то прося сквозного прохода.

Начальник станции внимательно посмотрел на Ольгу:

— Ведь это же воинский состав оборван!.. Надо поскорее принимать какое-либо решение!

Ольга попросила его:

— Командуйте!

— Сейчас, — в тревоге и поспешности сказал начальник, — сейчас мысль ко мне придет!

— Долго, — возразила Ольга. — Не надо, я сама знаю…

Она сошла с платформы вниз, перебежала пути, достигла маневрового паровоза и ухватилась за поручень трапа, ведущего в кабину машины. Затем она обернулась к начальнику станции:

— Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход! — и вбежала на тихо сипящий, мирный паровоз.

Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала.

— Сифон! — сразу сказала Ольга, войдя на паровоз. — Что же вы тут смотрите, сидите?

Иван Подметко молча повернул кран сифона, открыл дверцу в топку и начал кидать туда уголь полной лопатой. Пламя не поспевало высасываться тягой вон в атмосферу и забивалось

длинными красно-черными языками внутрь паровозной будки через открытую шуровку.

— Поедешь со мной? — спросила Ольга у пожилого, спокойного машиниста, хозяина машины.

Механик ответил не враз: он подумал, потрогал гущу волос на подбородке и произнес:

— Уклон велик: расшибемся… Ведь и за Серьгой продолжается уклон к Волге, тут только на станции одна маленькая площадка. А у меня семейство большое…

Выходной семафор открыл начальник станции. Паровоз воинского поезда пропел совсем близко. Ольга сказала механику:

— Ну, нам надо ехать, — ты сходи, береги своих детей!

Подметко по-прежнему поспешно загружал топку.

— А ты? — спросила его Ольга.

— Мне можно, — ответил Подметко. — Давай! Я бездетный!

На платформу вокзала вышел начальник станции; он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг: осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова завыл о катастрофе.

Машинист станционного паровоза молча со-

шел на землю и помаленьку направился вдоль пути, якобы по текущему делу, касающемуся обслуживания машины.

Начальник станции был скрыт от Ольги набежавшим составом. Сначала промчался паровоз, за ним с воем и скрежетом, с лихою игрою рессор прошло немного вагонов, у которых были настежь открыты двери. «А где же Лиза? — подумала Ольга. — Неужели она спит и не слышит?» Через открытые двери вагонов на мгновение было видно красноармейцев; они силою молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибали копытами доски из стен вагонов, так что видна была древесина на срезах досок.

Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный с паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку и прочел: «Оборвано двадцать — тридцать вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик А. Благих».

Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку Ольге.

Ольга взяла записку, прочла ее и поглядела туда, откуда прибыл паровоз с головной частью

поезда.

Оттуда, с горизонта, без паровоза, надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Сейчас была видна лишь передняя лобовая часть вагона — тупая, слепая стенка, увеличивающаяся на глазах от скорости.

Ольга, не найдя в себе места, куда спрятать записку начальника станции, взяла ее в рот, повернула несколько раз штурвал реверса вперед до отказа и двинула регулятор на открытие пара; паровоз тронулся.

Ольга взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед, пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке.

Маневровый станционный паровоз уже ушел со станции, но начальник, на всякий случай, поднял сигнал остановки — красный диск и свободную руку ладонью к поезду. С вихрем и музыкой свободной скорости появился перед ним хвост поезда в двадцать-тридцать вагонов; большая часть вагонов были открытыми платформами. На этих платформах стояли легкие орудия, кухни и лежало покрытое брезентами разное воинское имущество. Красноармейцы спокойно сидели на тех платформах и пели свои

песни. Лишь командир их, держась за стойку одного тормозного вагона, молча глядел вперед, и тормоза под этим вагоном, как нечаянно заметил начальник станции, были зажаты намертвую, — но им, одним вагоном, удержать состав, несущийся под уклон, было невозможно.

Начальник станции сейчас же ушел в дежурную комнату — сообщать в отделение службы эксплуатации о назревающем происшествии.

Паровоз, который вела Ольга, сильно раскачало от скорости, но она не убавляла открытия пара и отсечки. Время от времени она глядела на водомерное стекло, на манометр и назад, где ее нагонял свободный оборванный состав, разгоняющийся под уклон. Иван Подметко беспрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед.

Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться: оборванный хвост поезда их быстро нагонял.

— Не удержим состава, расшибемся, — сказал он. — Придется погибать.

— Прыгай! — посоветовала ему Ольга.

— А ты? — спросил Подметко.

— Я останусь одна, — ответила Ольга.

Подметко распахнул дверцу топки и снова начал швырять туда лопаты с углем.

— Я буду тоже с тобой, — сказал он. — Справимся.

Машина Ольги шла уже на предельной скорости; колесные дышла были почти незаметны от поспешности своего движения. Ольга одна видела сейчас положение своей машины. Слепой состав шел скорее, чем ее паровоз, и настигал убегающую машину почти в упор.

— Иван! — крикнула она. — Шуруй скорее топку! Ты завалил пламя углем, — что же ты со мной делаешь?!

Подметко взял кочергу и засунул ее в бушующий огонь. Однако расстояние между паровозом и слепым составом все более сокращалось. «Неужели? — думала Ольга. — Неужели я сейчас умру? Не хочется!»

Вдруг она услышала красноармейскую песню, которую пели на открытых платформах нагоняющего ее бешеного поезда. «Не буду я умирать!» — решила она. Она высунулась из окна паровозной кабины далеко наружу и увидела, что ей будет сейчас трудно: вагоны с разгона собьют ее легкий паровоз под откос. Она обернулась к Ивану Подметко:

— Уходи! Нас расшибет сейчас!

Иван еще немного подумал вдобавок:

— Надо воду выбить — шибче поедем, — и он дернул штангу крана продувки цилиндров, а потом схватился за поручни трапа и исчез вниз: должно быть, прыгнул в песок балласта, чтобы спасти свою жизнь.

Ольга заметила, что Подметко ушел, и прошептала: «Боже мой!» — как говорила когда-то ее покойная мать. Далее она не успела ничего подумать. Она почувствовала удар в машину, и паровоз ее прыгнул вперед, как живой и сознательный. Ольга обернулась через окно назад: «Что случилось?» — и тут же ощутила второй, громящий тупой удар. «Ну же, бедная! — с испугом вслух сказала она сама себе. — Пусть песни поют, без тебя!» — и Ольга закрыла регулятор, пустила песок под колеса, дала реверс назад, обратно открыла регулятором пар на полный ход и повела кран паровозного тормоза на все его открытие. Машина ее на мгновение стала вмертвую, уперлась на месте. Ольга сейчас же отпустила воздушный тормоз, а затем сама, всею машиной, надавила задним ходом на ударивший в нее состав, но инерция задних, напирающих вагонов еще не погасла — и они своей мертвой силой разгона вглухую вдвинули тендер паровоза в его кабину, где находился одинокий механик.

Ольга поняла, что происходит, и свернулась в комок на своем месте машиниста: «Это теткин муж, сволочь Благих, Аркадий Михайлович, это он оборвал состав! У меня записка в зубах была — где я ее потеряла? Где Лиза, неужели все спит?»

Ольгу сжало в машине. Она почувствовала, как ей стало душно, как всю ее — без остатка, вместе с одеждой — вдавливает чужая сила в железное тело горячего котла.

Маневровый паровоз даже не сошел с рельсов, в машину только вдвинулся тендер на котел, но зато весь оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Теперь весь поезд мирно стоял на высокой насыпи среди чистого поля, освещенного безветренным утренним солнцем. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала во сне или в смерти незнакомая одинокая женщина. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили женщину из машины и опустили ее оттуда на руки красноармейцев.

После того командир отошел в сторону и громко сказал:

— Четверо остаются здесь! Остальные — бегом

назад к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четверым людям, а те — следующим! Все.

Через полчаса Ольга была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серьгу. С нею же прибыл командир эшелона, не оставлявший ее в пути. Он соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие; у механика ранена голова и грудь; все красноармейцы невредимы, имущество цело; в случае дальнейшего развития свободной скорости оборванный состав неминуемо сошел бы с рельсов на закруглении перед волжским мостом или на самом мосту; либо же состав был бы сокрушен на станции, расположенной по ту сторону реки, за мостом, куда поезд должен был ворваться.

Из военного округа сообщили, что оттуда высылают через одну минуту санитарный автомобиль скорой помощи с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения; автомобиль пойдет по шоссе напрямую и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз.

Командир склонился к Ольге, лежавшей на диване в телеграфной комнате:

— Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем.

Может быть, родственников или друзей?

— Юшку, — сказала Ольга. — А больше никого не надо: пусть за меня все люди на свете живут…

— Хорошо, — ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче. — А это кто Юшка?

— Ребенок, — произнесла Ольга.

Командир удивился молодости матери и ничего не сказал. Она долго и терпеливо болела, но умереть не могла, — Ольга выздоровела, стала жить и живет до сих пор.

1938

В прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был, вместо Драбанова, определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня

чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюде-

ния за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу, — даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станется после нас, куда он полетел.

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или под-

готавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил, — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

— А я сам хочу, — улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот

же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда, — лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно; Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав, и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил

свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда…

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал, наоборот — на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могла идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным

движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед, в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния, — сказал он. — Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была, — произнес кочегар.

— Я не видел, — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел! — удивился кочегар. — Я думал — котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали, — объяснил кочегар. — Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали, — они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещая машущий, дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давала расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко — нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я. — Мы петарды давим! — и протянул руку к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я. — Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Не сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава,

остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя... Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травою улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя, — ответил я. — Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими

глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой… Я вижу все — вон жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без, — ответил Мальцев. — Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри, — решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, — что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, — сказал я следователю. — Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены… Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю, — произнес следователь, — вы говорите точно. Это все возможно, но не

достоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву, — рассуждал следователь. — Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнию Мальцев увидеть не мог, — сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно, — улыбнулся следователь. — Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит, — подтвердил я.

— Был ли он слепым, — продолжал следователь, — когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был, — подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?

— Не знаю, — сказал я.

— Вот видите, — говорил следователь. — Взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

— Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было, — сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного, — в медленном размышлении сказал он. — Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич, — сказал я ему, — почему вы не позвали меня на помощь, когда

ослепли?

— А я видел, — ответил он. — Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины — я все видел…

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу…

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал, я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю — о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

— А я ему говорил, — ответил Мальцев.

— А он что?

— «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение — было оно или нет — я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове; это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло, — это действие».

— Он прав, — сказал я.

— Прав, я сам знаю, — согласился машинист. — И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?

— В тюрьме сидеть будешь, — сообщил я ему.

4

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом — осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по Мальцеву.

Зимою я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы,

что у них, в университете, есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное и еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга, — сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан, — может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас. — Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой…

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла, — говорил мне следователь. — Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света — это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении… Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зре-

ние, — высказал я надежду, — как было тогда, после паровоза…

Следователь подумал.

— Едва ли… Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват… Зачем я послушался вас и, как глупарь, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали, — утешил я следователя. — Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья, — сказал следователь. — Это слишком дорогая цена.

— Вы следователь, — объяснил я ему. — Вы должны знать про человека все, и даже то, чего он сам про себя не знает…

— Я вас понимаю, вы правы, — тихо произнес следователь.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь… Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять

свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже, — сознался следователь. — Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя…

— Спасибо, но я занят: я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил — в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, — я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

5

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла, и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было

беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился.

— Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь, — дай реверс подержать: я крутить его не буду.

— Крутить его ты не будешь! — подтвердил я. — Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил

свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали подобным же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать ход и шел на свето-

фор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием…

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет, — сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет! — сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ:

— Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.

Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.

1941

Еще мама

— А я, когда вырасту, я в школу ходить не буду! — сказал Артем своей матери, Евдокии Алексеевне. — Правда, мама?

— Правда, правда, — ответила мать. — Чего тебе ходить!

— Чего мне ходить? Нечего! А то я пойду, а ты заскучаешь по мне. Не надо лучше!

— Не надо, — сказала мать, — не надо!

А когда прошло лето и стало Артему семь лет от роду, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артем хотел было уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из ее руки; рука у матери теперь была твердая, а прежде была мягкая.

— Ну что ж! — сказал Артем. — Зато я домой скоро приду! Правда, скоро?

— Скоро, скоро, — ответила мать. — Поучишься чуть-чуть и домой пойдешь.

— Я чуть-чуть, — соглашался Артем. — А ты по мне дома не скучай!

— Не буду, сынок, я не буду скучать.

— Нет, ты немножко скучай, — сказал Артем. — Так лучше тебе будет, а то что! А игрушки из угла

убирать не надо: я приду и сразу буду играть, я бегом домой прибегу.

— А я тебя ждать буду, — сказала мать, — я тебе оладьев нынче испеку.

— Ты будешь ждать меня? — обрадовался Артем. — Тебе ждать не дождаться! Эх, горе тебе! А ты не плачь по мне, ты не бойся и не умри смотри, а меня дожидайся!

— Да уж ладно! — засмеялась мать Артема. — Уж дождусь тебя, милый мой, авось не помру!

— Ты дыши и терпи, тогда не помрешь, — сказал Артем. — Гляди, как я дышу, так и ты.

Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там, в конце улицы, стояла новая большая рубленая школа — ее целое лето строили, — а за школой начинался темный лиственный лес. До школы отсюда еще было далеко, до нее протянулся долгий порядок домов — дворов десять или одиннадцать.

— А теперь ступай один, — сказала мать. — Привыкай один ходить. Школу-то видишь?

— А то будто! Вон она!

— Ну иди, иди, Артемушка, иди один. Учительницу там слушайся, она тебе вместо меня будет.

Артем задумался.

— Нету, она за тебя не будет, — тихо произнес

Артем, — она чужая.

— Привыкнешь, Аполлинария Николаевна тебе как родная будет. Ну, иди!

Мать поцеловала Артема в лоб, и он пошел далее один.

Отошедши далеко, он оглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артему хотелось заплакать по матери и вернуться к ней, но он опять пошел вперед, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать Артема, взять его за руку и вернуться с ним домой, но она только вздохнула и пошла домой одна.

Вскоре Артем снова обернулся, чтобы поглядеть на мать, однако ее уже не было видно.

И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и защемил клювом штанину у Артема, а заодно захватил и живую кожу на его ноге.

Артем рванулся прочь и спасся от гусака. «Это страшные дикие птицы, — решил Артем, — они живут вместе с орлами».

На другом дворе были открыты ворота. Артем увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями, животное стояло к Артему хвостом, но все равно оно было сердитое и видело его.

«Ктой-то это? — подумал Артем. — Волк, что ли?» Артем оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать, — и не видать ли ее там, а то этот волк побежит туда. Матери не было видно, она уже дома, должно быть, это хорошо, волк ее не съест. Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскалило на Артема пасть с зубами. Артем узнал собаку Жучку.

— Жучка, это ты?

— Р-р-р! — ответила собака-волк.

— Тронь только! — сказал Артем. — Ты только тронь! Ты знаешь, что тебе тогда будет? Я в школу иду. Вон она виднеется!

— М-м-м, — смирно произнесла Жучка и шевельнула хвостом.

— Эх, далече еще до школы! — вздохнул Артем и пошел дальше.

Кто-то враз и больно ударил Артема по щеке, словно вонзился в нее, и тут же вышел вон обратно.

— Это ктой-то еще? — напугался было Артем. — Ты чего дерешься, а то я тебе тоже… Мне в школу надо. Я ученик — ты видишь!

Он поглядел вокруг, а никого не было, один ветер шумел павшими листьями.

— Спрятался? — сказал Артем. — Покажись

только!

На земле лежал толстый жук. Артем поднял его, потом положил на лопух.

— Это ты на меня из ветра упал. Живи теперь, живи скорее, а то зима настанет.

Сказавши так, Артем побежал в школу, чтобы не опоздать. Сначала он бежал по тропинке возле плетня, да оттуда какой-то зверь дыхнул на него горячим духом и сказал: «Ффурфурчи!»

— Не трожь меня: мне некогда! — ответил Артем и выбежал на середину улицы.

На дворе школы сидели ребята. Их Артем не знал, они пришли из другой деревни, должно быть, они учились давно и были все умные, потому что Артем не понимал, что они говорили.

— А ты знаешь жирный шрифт? Ого! — сказал мальчик из другой деревни.

А еще двое говорили:

— Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал!

— А мы их прошли уже. Мы птиц учили до кишок!

— Вы до кишок только, а мы всех птиц до перелета проходили.

«А я ничего не знаю, — подумал Артем, — я только маму люблю! Убегу я домой!»

Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница Аполлинария Николаевна и сказала, когда отзвенел звонок:

— Здравствуйте, дети! Идите сюда, идите ко мне.

Все ребята пошли в школу, один Артем остался во дворе.

Аполлинария Николаевна подошла к нему:

— А ты чего? Оробел, что ли?

— Я к маме хочу, — сказал Артем и закрыл лицо рукавом. — Отведи меня скорее ко двору.

— Нет уж, нет! — ответила учительница. — В школе я тебе мама.

Она взяла Артема под мышки, подняла к себе на руки и понесла.

Артем исподволь поглядел на учительницу: ишь ты, какая она была, — она была лицом белая, добрая, глаза ее весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая. И пахло от нее так же, как от матери, теплым хлебом и сухою травой.

В классе Аполлинария Николаевна хотела было посадить Артема за парту, но он в страхе прижался к ней и не сошел с рук. Аполлинария Николаевна села за стол и стала учить детей, а Артема оставила у себя на коленях.

— Эк ты, селезень толстый какой на коленях сидит! — сказал один мальчик.

— Я не толстый! — ответил Артем. — Это меня орел укусил, я раненый.

Он сошел с коленей учительницы и сел за парту.

— Где? — спросила учительница. — Где твоя рана? Покажи-ка ее, покажи!

— А вот тута! — Артем показал ногу, где гусак его защемил.

Учительница оглядела ногу.

— До конца урока доживешь?

— Доживу, — обещал Артем.

Артем не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно на далекое белое облако; оно плыло по небу туда, где жила его мама в родной их избушке. А жива ли она? Не померла ли от чего-нибудь — вот бабушка Дарья весною враз померла, не чаяли, не гадали. А может быть, изба их без него загорелась, ведь Артем давно из дому ушел, мало ли что бывает.

Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него:

— А ты чего, Федотов Артем, ты чего думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь?

— Я пожара боюсь, наш дом сгорит.

— Не сгорит. В колхозе народ смотрит, он потушит огонь.

— Без меня потушат? — спросил Артем.

— Без тебя управятся.

После уроков Артем первым побежал домой.

— Подожди, подожди, — сказала Аполлинария Николаевна. — Вернись назад, ты ведь раненый.

А ребята сказали:

— Эк, какой — инвалид, а бегает!

Артем остановился в дверях, учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собою. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах у Аполлинарии Николаевны пахло цветами, тихо звенела посуда в шкафу, и всюду было убрано чисто, хорошо.

Аполлинария Николаевна посадила Артема на стул, обмыла его ногу теплой водой из таза и перевязала красное пятнышко — щипок гусака — белой марлей.

— А мама твоя будет горевать! — сказала Аполлинария Николаевна. — Вот горевать будет!

— Не будет! — ответил Артем. — Она оладьи печет!

— Нет, будет. Эх, скажет, зачем Артем в школу нынче ходил? Ничего он там не узнал, а пошел учиться, значит, он маму обманул, значит, он

меня не любит, скажет она и сама заплачет.

— И правда! — испугался Артем.

— Правда. Давай сейчас учиться.

— Чуть-чуть только, — сказал Артем.

— Ладно уж, чуть-чуть, — согласилась учительница. — Ну, иди сюда, раненый.

Она взяла его к себе на руки и понесла в класс. Артем боялся упасть и прильнул к учительнице. Снова он почувствовал тот же тихий и добрый запах, который он чувствовал возле матери, а незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были несердитые, точно давно знакомые. «Не страшно», — подумал Артем.

В классе Аполлинария Николаевна написала на доске одно слово и сказала:

— Так пишется слово «мама», — и велела писать эти буквы в тетрадь.

— А это про мою маму? — спросил Артем.

— Про твою.

Тогда Артем старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что и на доске. Он старался, а рука его не слушалась; он ей подговаривал, как надо писать, а рука гуляла сама по себе и писала каракули, не похожие на маму. Осерчавши, Артем писал снова и снова четыре буквы, изображающие «маму», а учительница не

сводила с него своих радующихся глаз.

— Ты молодец! — сказала Аполлинария Николаевна. Она увидела, что теперь Артем сумел написать буквы хорошо и ровно.

— Еще учи! — попросил Артем. — Какая это буква: вот такая — ручки в бочки?

— Это Ф, — сказала Аполлинария Николаевна.

— А жирный шрифт что?

— А это такие вот толстые буквы.

— Кормленые? — спросил Артем. — Больше не будешь учить — нечему?

— Как так «нечему»? Ишь ты какой! — сказала учительница. — Пиши еще!

Она написала на доске: «Родина».

Артем стал было переписывать слово в тетрадь, да вдруг замер и прислушался.

На улице кто-то сказал страшным заунывным голосом: «У-у!», а потом еще раздалось откуда-то, как из-под земли: «Н-н-н!»

И Артем увидел в окне черную голову быка. Бык глянул на Артема одним кровавым глазом и пошел к школе.

— Мама! — закричал Артем.

Учительница схватила мальчика и прижала его к своей груди.

— Не бойся! — сказала она. — Не бойся, малень-

кий мой. Я тебя не дам ему, он тебя не тронет.

— У-у-у! — прогудел бык.

Артем обхватил руками шею Аполлинарии Николаевны, а она положила ему свою руку на голову.

— Я прогоню быка.

Артем не поверил.

— Да. А ты не мама!

— Мама!.. Сейчас я тебе мама!

— Ты еще мама? Там мама, а ты еще, ты тут.

— Я еще. Я тебе еще мама!

В классную комнату вошел старик с кнутом, запыленный землей; он поклонился и сказал:

— Здравствуйте, хозяева! А что, нету ли кваску испить либо воды? Дорога сухая была…

— А вы кто, вы чьи? — спросила Аполлинария Николаевна.

— Мы дальние, — ответил старик. — Мы скрозь идем вперед, мы племенных быков по плану гоним. Слышите, как они нутром гудят? Звери лютые!

— Они вот детей могут изувечить, ваши быки! — сказала Аполлинария Николаевна.

— Еще чего! — обиделся старик. — А я-то где? Детей я уберегу!

Старик пастух напился из бака кипяченой воды

— он полбака выпил, — вынул из своей сумки красное яблочко, дал его Артему. «Ешь, — сказал, — точи зубы», — и ушел.

— А еще у меня есть еще мамы? — спросил Артем. — Далеко-далеко, где-нибудь?

— Есть, — ответила учительница. — Их много у тебя.

— А зачем много?

— А затем, чтоб тебя бык не забодал. Вся наша Родина — еще мама тебе.

Вскоре Артем пошел домой, а на другое утро он спозаранку собрался в школу.

— Куда ты? Рано еще, — сказала мать.

— Да, а там учительница Аполлинария Николаевна! — ответил Артем.

— Ну что ж, что учительница. Она добрая.

— Она, должно, уже соскучилась, — сказал Артем. — Мне пора.

Мать наклонилась к сыну и поцеловала его на дорогу.

— Ну, иди, иди помаленьку. Учись там и расти большой.

1947

Никита

Рано утром мать уходила со двора в поле на работу. А отца в семействе не было; отец давно ушел на главную работу — на войну — и не вернулся оттуда. Каждый день мать ожидала, что отец вернется, а его все не было и нет.

В избе и на всем дворе оставался хозяином один Никита, пяти лет от роду. Уходя, мать ему наказывала, чтобы он не сжег двора, чтобы он собрал яйца от кур, которые они снесли по закутам и под плетнями, чтобы чужой петух не приходил во двор и не бил своего петуха и чтобы он ел в обед молоко с хлебом на столе, а к вечеру мать вернется и тогда покормит его горячим ужином.

— Не балуй, Никитушка, отца у тебя нету, — говорила мать. — Ты умный теперь, а тут все добро наше, в избе и во дворе.

— Я умный, тут добро наше, а отца нету, — говорил Никита. — А ты приходи поскорее, мама, а то я боюсь.

— Чего ты боишься-то? На небе солнце светит, кругом в полях людно, ты не бойся, ты живи смирно один…

— Да, а солнце ведь далече, — отвечал Ники-

та, — и его облако закроет…

Оставшись один, Никита обошел всю тихую избу — горницу, затем другую комнату, где стояла русская печь, и вышел в сени. В сенях жужжали большие толстые мухи, паук дремал в углу посреди паутины, воробей пеший пришел через порог и искал себе зернышко в жилой земле избы.

Всех их знал Никита: и воробьев, и пауков, и мух, и кур во дворе; они ему уже надоели, и от них ему было скучно. Он хотел теперь узнать то, чего он не знал. Поэтому Никита пошел далее во двор и пришел в сарай, где стояла в темноте пустая бочка. В ней, наверно, кто-нибудь жил, какой-нибудь маленький человек: днем он спал, а ночью выходил наружу и ел хлеб, пил воду и думал что-нибудь, а наутро опять прятался в бочку и спал.

— Я тебя знаю, ты там живешь, — приподнявшись на ногах, сказал Никита в темную гулкую бочку, а потом вдобавок постучал по ней кулаком. — Вставай, не спи, лодырь! Чего зимой есть будешь? Иди просо молоть, тебе трудодень дадут!

Никита прислушался. В бочке было тихо. «Помер он, что ль!» — подумал Никита. Но в бочке скрипнула ее деревянная снасть, и Никита ото-

шел от греха. Он понял, что, значит, тамошний житель повернулся набок, либо хотел встать и погнаться за Никитой.

Но какой он был — тот, кто жил в бочке? Никита сразу представил его в уме. Это был маленький, а живой человек. Борода у него была длинная, она доставала до земли, когда он ходил ночью, а он нечаянно сметал ею сор и солому, отчего в сарае оставались чистые стежки. У матери недавно пропали ножницы. Это он, должно быть, взял ножницы, чтобы обрезать себе бороду.

— Отдай ножницы! — тихо попросил Никита. — Отец придет с войны, все одно отымет, он тебя не боится. Отдай!

Бочка молчала. В лесу, далеко за деревней, кто-то ухнул, и в бочке тоже ответил ему черным страшным голосом маленький житель.

— Я тут!

Никита выбежал из сарая во двор. На небе светило доброе солнце, облака не застили его сейчас, и Никита в испуге поглядел на солнце, чтобы оно защитило его.

— Там житель в бочке живет! — сказал Никита, смотря на небо.

Доброе солнце по-прежнему светило на небе и глядело на него в ответ теплым лицом.

Никита увидел, что солнце было похоже на умершего дедушку, который всегда был ласков к нему и улыбался, когда был живой и смотрел на него. Никита подумал, что дедушка стал теперь жить на солнце.

— Дедушка, ты где, ты там живешь? — спросил Никита. — Живи там, а я тут буду, я с мамой.

За огородом, в зарослях лопухов и крапивы, находился колодец. Из него уже давно не брали воду, потому что в колхозе вырыли другой колодец с хорошей водой.

В глубине того глухого колодца, в его подземной тьме была видна светлая вода с чистым небом и облаками, идущими под солнцем. Никита наклонился через сруб колодца и спросил:

— Вы чего там?

Он думал, что там живут на дне маленькие водяные люди. Он знал, какие они были, он их видел во сне и, проснувшись, хотел их поймать, но они убежали от него по траве в колодец, в свой дом. Ростом они были с воробья, но толстые, безволосые, мокрые и вредные; они, должно быть, хотели у Никиты выпить глаза, когда он спал.

— Я вам дам! — сказал в колодец Никита. — Вы зачем тут живете?

Вода в колодце вдруг замутилась, и оттуда кто-

то чавкнул пастью.

Никита открыл рот, чтобы вскрикнуть, но голос его вслух не прозвучал, он занемел от страха; у него только дрогнуло и приостановилось сердце. «Здесь еще великан живет и его дети!» — понял Никита.

— Дедушка! — поглядев на солнце, крикнул он вслух. — Дедушка, ты там? — и Никита побежал назад к дому.

У сарая он опомнился. Под плетневую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители.

А кто они такие были? Может быть, змеи! Они приползут ночью в избу и ужалят мать во сне, и мать умрет.

Никита побежал скорее домой, взял там два куска хлеба со стола и принес их. Он положил у каждой норы хлеб и сказал змеям:

— Змеи, ешьте хлеб, а к нам ночью не ходите.

Никита оглянулся. На огороде стоял старый пень. Посмотрев на него, Никита увидел, что это голова человека. У пня были глаза, нос и рот, и пень молча улыбался Никите.

— Ты тоже тут живешь? — спросил мальчик. — Вылезай к нам в деревню, будешь землю пахать.

Пень крякнул в ответ, и лицо его стало сер-

дитое.

— Не вылезай, не надо, живи лучше там! — сказал Никита, испугавшись.

Во всей деревне было тихо сейчас, никого не слыхать. Мать в поле далеко, до нее добежать не успеешь. Никита ушел от сердитого пня в сени избы. Там было нестрашно, там мать недавно была.

В избе стало теперь жарко: Никита хотел испить молока, что оставила ему мать, но, посмотрев на стол, он заметил, что стол — это тоже человек, только на четырех ногах, а рук у него нету.

Никита вышел в сени на крыльцо. Вдалеке за огородом и колодцем стояла старая баня. Она топилась по-черному, и мать говорила, что в ней дедушка любил купаться, когда еще живым был.

Банька была старая и омшелая вся, скучная избушка.

«Это бабушка наша, она не померла, она избушкой стала! — в страхе подумал Никита о дедушкиной бане. — Ишь живет себе, вон у ней голова есть, — это не труба, а голова, — и рот щербатый в голове. Она нарочно баня, а по правде тоже человек! Я вижу!»

Чужой петух вошел во двор с улицы. Он был похож по лицу на знакомого худого пастуха с

бородкой, который по весне утонул в реке, когда хотел переплыть ее в половодье, чтобы идти гулять на свадьбу в чужую деревню.

Никита порешил, что пастух не захотел быть мертвым и стал петухом: значит, петух этот — тоже человек, только тайный. Везде есть люди, только кажутся они не людьми.

Никита наклонился к желтому цветку. Кто он был? Вглядевшись в цветок, Никита увидел, как постепенно в круглом его личике являлось человеческое выражение, и вот уже стали видны маленькие глаза, нос и открытый влажный рот, пахнущий живым дыханием.

— А я думал, ты правда — цвет! — сказал Никита. — А дай, я посмотрю что у тебя внутри, есть у тебя кишки?

Никита сломал стебель — тело цветка — и увидел в нем молоко.

— Ты маленький ребенок был, ты мать свою сосал! — удивился Никита.

Он пошел к старой бане.

— Бабушка! — тихо сказал ей Никита.

Но щербатое лицо бабушки гневно ощерилось на него, как на чужого.

«Ты не бабушка, ты другая!» — подумал Никита. Колья из плетня смотрели на Никиту, как лица

многих неизвестных людей. И каждое лицо было незнакомое и не любило его: одно сердито ухмылялось, другое злобно думало что-то о Никите, а третий кол опирался иссохшими руками-ветвями о плетень и собирался вовсе вылезти из плетня, чтобы погнаться за Никитой.

— Вы зачем тут живете? — сказал Никита. — Это наш двор!

Но незнакомые, злобные лица отовсюду неподвижно и зорко смотрели на Никиту. Он глянул на лопухи — они должны быть добрыми. Однако и лопухи сейчас угрюмо покачивали большими головами и не любили его.

Никита лег на землю и прильнул к ней лицом. Внутри земли гудели голоса, там, должно быть, жили в тесной тьме многие люди и слышно было, как они карябаются руками, чтобы вылезти оттуда на свет солнца. Никита поднялся в страхе, что везде кто-то живет и отовсюду глядят на него чужие глаза, а кто не видит его, тот хочет выйти к нему из-под земли, из норы, из черной застрехи сарая. Он обернулся к избе. Изба смотрела на него, как прохожая старая тетка из дальней деревни, и шептала ему: «У-у, непутевые, нарожали вас на свет — хлеб пшеничный даром жевать».

— Мама, иди домой? — попросил Никита да-

лекую мать. — Пускай тебе половину трудодня запишут. К нам во двор чужие пришли и живут. Прогони их!

Мать не услышала сына. Никита пошел за сарай; он хотел поглядеть, не вылезает ли пень-голова из земли; у пня рот большой, он всю капусту на огороде поест, из чего тогда мать будет щи варить зимой.

Никита издали робко посмотрел на пень в огороде. Сумрачное, нелюдимое лицо, обросшее морщинистой корой, неморгающими глазами глянуло на Никиту.

И далеко кто-то, из леса за деревней, громко крикнул:

— Максим, ты где?

— В земле! — глухо отозвалась пень-голова.

Никита обернулся, чтобы бежать к матери в поле, но упал. Он занемог от страха: ноги его стали теперь как чужие и не слушались его. Тогда он пополз на животе, словно был еще маленький и не мог ходить.

— Дедушка! — прошептал Никита и посмотрел на доброе солнце на небе.

Облако застило свет, и солнце теперь не было видно.

— Дедушка, иди опять к нам жить.

Дедушка-солнце показался из-за облака, будто дед сразу отвел от своего лица темную тень, чтобы видеть своего ослабевшего внука, ползшего по земле.

Дед теперь смотрел на него; Никита подумал, что дед видит его, поднялся на ноги и побежал к матери.

Он бежал долго. Он пробежал по пыльной пустой дороге всю деревенскую улицу, потом уморился и сел в тени овина на околице.

Никита сел не надолго, он нечаянно опустил голову к земле, уснул и очнулся лишь навечер. Новый пастух гнал колхозное стадо. Никита пошел было далее в поле к матери, однако пастух сказал ему, что уже время позднее, и мать Никиты давно ушла с поля ко двору.

Дома Никита увидел мать. Она сидела за столом и смотрела, не отводя глаз, на старого солдата, который ел хлеб и пил молоко.

Солдат поглядел на Никиту, потом поднялся с лавки и взял его к себе на руки. От солдата пахло теплом, чем-то добрым и смирным, хлебом и землей. Никита оробел и молчал.

— Здравствуй, Никита, — сказал солдат. — Ты уж давно позабыл меня, ты грудной еще был, когда я поцеловал тебя и ушел на войну. А я-то

помню тебя, умирал и помнил.

— Это твой отец домой пришел, Никитушка, — сказала мать и утерла передником слезы с лица.

Никита осмотрел отца — лицо его, руки, медаль на груди и потрогал ясные пуговицы на его рубашке.

— А ты опять не уйдешь от нас?

— Нет, — произнес отец. — Теперь уж век буду с тобой вековать. Врага-неприятеля мы погубили, пора о тебе с матерью думать…

Наутро Никита вышел во двор и сказал вслух всем, кто жил во дворе, — и лопухам, и сараю, и кольям в плетне, и пню-голове в огороде, и дедушкиной бане:

— К нам отец пришел. Он век будет с нами вековать.

Во дворе все молчали; видно, всем стало боязно отца-солдата, и под землей было тихо, никто не карябался оттуда наружу, на свет.

— Иди ко мне, Никита. Ты с кем там разговариваешь?

Отец был в сарае. Он осматривал и пробовал руками топоры, лопаты, пилу, рубанок, тиски, верстак и разные железки, что были в хозяйстве.

Отделавшись, отец взял Никиту за руку и пошел с ним по двору, оглядывая — где, что и как

стояло, что было цело, а что погнило, что было нужно и что нет.

Никита так же, как вчера, смотрел в лицо каждому существу во дворе, но нынче он ни в одном не увидел тайного человека; ни в ком не было ни глаз, ни носа, ни рта, ни злой жизни. Колья в плетнях были иссохшими толстыми палками, слепыми и мертвыми, а дедушкина баня была сопревшим домиком, уходящим от старости лет в землю. Никита даже не пожалел сейчас дедушкину баню, что она умирает и больше ее не будет.

Отец сходил в сарай за топором и стал колоть на дрова ветхий пень на огороде. Пень сразу начал раздавливаться, он сотлел насквозь, и его сухой прах дымом поднялся из-под отцовского топора.

Когда пня-головы не стало, Никита сказал отцу:

— А тебя не было, он слова говорил, он был живой. Под землей у него пузо и ноги есть.

Отец повел сына домой в избу.

— Нет, он давно умер, — сказал отец. — Это ты хочешь всех сделать живыми, у тебя сердце доброе. Для тебя, поди, и камень живой, и на луне покойная бабушка снова живет.

— А на солнце дедушка! — сказал Никита.

Днем отец стругал доски в сарае, чтобы пере-

стелить заново пол в избе, а Никите он тоже дал работу — выпрямлять молотком кривые гвозди.

Никита с охотой, как большой, начал работать молотком. Когда он выпрямил первый гвоздь, он увидел в нем маленького доброго человечка, улыбавшегося ему из-под своей железной шапки. Он показал его отцу и сказал ему:

— А отчего другие злые были — и лопух был злой, и пень-голова, и водяные люди, а этот — добрый человек?

Отец погладил светлые волосы сына и ответил ему:

— Тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, оттого они и злые. А этого гвоздя-человечка ты сам трудом сработал, он и добрый.

Никита задумался.

— Давай все трудом работать, и все живые будут.

— Давай, сынок, — согласился отец. — Давай, добрый Кит.

Отец, вспоминая Никиту на войне, всегда называл его про себя «добрый Кит». Отец верил, что сын родился у него добрый и останется таким на весь свой долгий век.

1945